

Annotation

Юлиан Семенович Семенов родился в 1931 году в Москве. В 1954 году окончил ближневосточный факультет Московского института востоковедения. Работал на кафедре Востока исторического факультета МГУ.

С 1955 года Юлиан Семенович сотрудничает в журнале «Огонек». В качестве специального корреспондента ездит по Советскому Союзу, пишет очерки. За последние годы он посетил ряд зарубежных стран. В журнале «Знамя» в 1958 и 1959 годах напечатаны два цикла его рассказов — «Пять рассказов о геологе Рябининой» и «Будни и праздники».

«Дипломатический агент» — первая книга молодого автора. Это повесть о человеке удивительной, трагической судьбы — одном из первых русских востоковедов, Иване Виткевиче. Повесть о человеке, которого высшие сановники царской России считали государственным преступником; агенты лондонского Интеллидженс сервис — блестящим русским разведчиком; мудрый Гумбольдт и гениальный Пушкин — замечательным ученым. А люди Кара-Кумов и снежного Гиндукуша знали, что Виткевич — человек зоркого глаза, большого ума и доброго сердца.

-
- [Юлиан Семенов](#)
 - [Часть первая](#)
 - [Глава первая](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)

- 8
- Глава третья
 - 1
 - 2
- Глава четвертая
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
- Глава пятая
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
- Глава шестая
 - 1
 - 2
 - 3
- Часть вторая
 - Глава первая
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - Глава вторая
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - 8
 - 9
 - 10
 - Глава третья
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4

- 5
- 6
- Глава четвертая
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
- Глава пятая
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
- Часть третья
 - Глава первая
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - Глава вторая
 - 1
 - 2
 - Глава третья
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - 8
 - 9
 - Глава четвертая
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - 8

- [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [Эпилог](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
-

Юлиан Семенов
Дипломатический агент

Часть первая

Глава первая

1

Дверь заскрипела, и большой ключ начал вращаться в скважине замка. Когда дежурил старый солдат, он запирали дверь быстро, одним рывком. Молодой стражник всегда долго возился.

Иван слушал, как лязгал ключ в скважине. Раз. Два. Три. Три оборота. Закрывал дверь молодой стражник: несколько раз он ударил плечом в дверь, пошатал ее руками и только после этого пошел по коридору направо.

«Чудак, — подумал Иван, — ведь все равно некуда».

Он подошел к койке, стоявшей под маленьким, сплошь зарешеченным окном, лег на шершавое, серого цвета одеяло и расстегнул ворот рубахи. Провел рукой по лицу.

Нос был холодный, как льдинка, а щеки горели лихорадочно. Иван ощупал нос и сказал:

— Мой.

Он испугался своего голоса. Вздогнул. И вдруг с поразительной ясностью вспомнил слова прокурора, его голос — красивый, низкий. Перед тем как произнести фамилию Ивана, он кашлянул и громче, чем имена всех остальных, прочел:

— Виткевича Ивана Викторовича, четырнадцати лет от роду, за участие в организации преступного революционного общества «Черные братья» в Крожской гимназии — к смертной казни через повешение.

Иван зажмурился и укусил пальцы, чтобы не заплакать. Он укусил пальцы еще сильнее. Из-под ногтей показалась кровь. Увидав на подушках пальцев маленькие красные пятнышки, похожие на божьих коровок, Иван закричал. Крик его, страшный, слабый крик мальчика, ударился о тяжелые стены и заметался по длинному холодному зданию острога.

«Нет, — поднявшись на локтях, подумал Иван, — нет! Этого не может стать! Смерть? Нет! Нет!»

Но он снова ясно, как будто все представлявшееся ему действительно происходило здесь, в камере, перед глазами, увидел лицо прокурора, его бакенбарды, подстриженные снизу, височки, аккуратно зачесанные ко лбу, и глаза, когда тот, взглянув на Ивана,

запнулся на какую-то долю секунды, а потом закончил: «...через повешение».

Дело учеников Крожской гимназии, которые за писание и распространение среди своих однокашников стихов возмутительного содержания были приговорены к смертной казни и ссылке, потрясло даже самых спокойных. По Вильне пошло возмущение.

Студенты университета — горячие головы — хотели устроить вооруженное нападение на острог и освободить детей. Ведь самому старшему из осужденных не было семнадцати лет.

Нехорошие, тревожные слухи проникли в Петербург. Узнали об этом при дворе.

Александр I, не желая столь неприятных толков, отправил в Варшаву своего доверенного барона Рихте, поручив ему как-то уладить все это дело.

— Я не люблю, когда в нашей империи говорят о крови. Это дурной тон. И потом я противник резкого в чем бы то ни было. Гармония и еще раз гармония. Придумайте что-нибудь, барон, я верю вам. Сделайте добро этим детям, сделайте им каторгу, но бога ради не смерть, — напутствовал император барона.

Когда Рихте вышел из кабинета, Александр поднял с колен книгу, открыл заложенную страницу и углубился в разглядывание фривольных рисунков к поэме Вольтера «Орлеанская девственница».

Прибыв в Варшаву, барон был принят наместником почти сразу же. Константин пробежал по вощеному паркету из одного конца огромного кабинета к другой и остановился около бюста Екатерины. Бабушка-императрица пустыми, блудливыми глазами смотрела поверх его головы на Рихте.

— Да, да, да! — прокричал Константин. — Пусть мальчишки, пусть дети! Нечего лезть в политику! Когда я был мальчишкой, я читал Вергилия и играл в солдаток!^[1] Не говорите мне больше ничего! Я неумолим. — Константину понравилась последняя фраза, и он повторил: — Я неумолим!

Рихте не двинулся с места. Ни один мускул не шевельнулся на его лице, когда он заговорил:

— Прощаясь, его величество сказал мне, что видит в вас отца поляков. Поэтому государь просил привезти подтверждения, дабы лишний раз насладиться теми качествами характера вашего высочества, которые так хорошо известны нам, русским.

Константин засмеялся.

— Какой же ты русский, барон? Ты немец. Немец ты, а не русский... А с мальчишками я неумолим. Пусть будет так, как сказали Новосильцев с Розеном.

Смерть.

Назавтра барон Рихте уехал в Санкт-Петербург. Он увез с собой дело крожских гимназистов. На папке, в которой хранилось все относящееся к Ивану Виткевичу, ломким почерком наместника было начертано: «В солдаты. Без выслуги. С лишением дворянства. Навечно. Конст...»

Под последним, незаконченным словом расплылись две большие чернильные кляксы.

Через три дня Иван Виткевич и его гимназический друг Алоизий Песляк были закованы в кандалы и отправлены по этапу в Россию.

2

В Оренбурге они обнялись в последний раз и не могли сдержать слез. Виткевича увезли в Орскую крепость, а Песляка — в Троицкую.

Забравшись высоко в небо, стыли жаворонки, что-то рассказывая солнцу. Веселые, они словно старались оживить ландшафт размахнувшейся на много сотен верст оренбургской равнины.

Казалось, жара охватила своими сухими руками весь мир. Но нигде не была она так нещадно сильна, как в этих степях. Недавно проложенный вдоль по Уралу тракт из Оренбурга в Орск был еще совсем не объезжен. Он прятался в балках, кружил голову причудливыми изгибами, тряс телеги сердитыми, в полметра, а то и в метр, ухабами.

Бричка, в которой ехал Виткевич, сотрясаясь, стонала, словно собираясь вот-вот рассыпаться. Маленькая лошаденка жалобно запрокидывала морду, когда возница — солдат Орского линейного батальона Тимофей Ставрин — лениво, но с силой постегивал ее по взмокшему крупу.

— Ишь, стерва! — хрипел Тимофей, вытирая со лба пот. — Глянь-ка, барин, ленива ведь, а?

— Устала.

— И-и, устала! А я, поди, не устал! Иль ты? Уж, наверно, ох, как замаялся...

Тимофей обернулся, и бугристое красно-синее лицо его растянулось в улыбку.

«Худенький мальчонка-то, — жалостливо подумал Ставрин, — шейка на просвет. Дите, а поди ж ты...»

— Ай заморился? — спросил он Ивана. — Так я погожу. Хочешь, иди цветиками подыши, васильками. Они, видишь, какие? Синь-цвет. Как словно Каспий-море.

— А Каспий-море синее?

Тимофей засмеялся.

— Как небо все одно. Будто вместе с дождичком опрокинулось.

Ставрин натянул вожжи и прыгнул на землю. Размявшись, он развел руки и, запрокинув голову, начал тонко высвистывать песню жаворонка.

— Глянь, барин. А птица все ж самое что ни на есть чистое создание. С сердцем. Поет себе да поет... А у нас не попоешь. Так что ты сейчас, мил-душа, поиграй. Годы твои молодые, игручие.

— Я не ребенок.

— Да ты не серчай. Я от сердца к тебе.

Когда Иван соскочил с брички и пошел в поле, Тимофей окликнул его:

— Барин, а за что тебя, а?

— За всякое, — ответил Иван и вздохнул. — Я и сам-то не знаю за что, — Хитер. Ни за что такое не делается. Инто, значит, было за что...

Иван собрал большую охапку васильков и положил рядом с собою, укрыв от лучей солнца холшевиной. Ставрин сел на облучок, чмокнул губами и негромко запел:

И-эх, поедем,
Едем да поедем,
Песню да песню,
Песню заведем...

В Орскую крепость Ставрин приехал поздним вечером. Жара спала. С запада дул соленый ветер.

Полный диск луны дрожал в небе. Около маленького свежебеленого домика Тимофей остановил лошадь. Постучал

кнотовищем в окно. В доме кто-то закашлялся. Сверчок прервал свою песню, прислушиваясь. Прошлепали босые ноги, щелкнула о косяк щеколда. На пороге стояла высокая девушка в белой, до пят, рубахе. Тимофей поцеловал ее в лоб, отдал кнут и вернулся к бричке. Взяв на руки спящего Виткевича, он бережно понес его в дом.

— Царева преступника привез, — шепнул он дочери. —
Замаялся мальчонка.

Всю жизнь Тимофей Ставрин мечтал о сыне. Бог послал ему пять дочерей. Он прижал к себе хрупкое тело Ивана, и сердце глухо застучало «Сы-нок, сы-нок, сы-нок».

3

Часы пробили полночь. Жители британской столицы давно уснули. Тут даже в дни празднеств балы кончаются рано: веселиться можно ехать в Париж или Петербург.

Только в одном из фешенебельных лондонских предместий, в небольшом особняке, охраняемом двумя запорошенными мокрым снегом львами, горят тусклыми пятнами в темноте ночи два окна на третьем этаже. Большие хлопья снега прилипают к освещенным стеклам, и кажется, будто им очень хочется разглядеть, что происходит в большом холле.

Холл отделан мореным черным деревом. Острые блики огня в камине пляшут, отражаются на черном дереве причудливыми видениями.

Хозяин этого дома — человек, далекий от политики, но близкий к финансам. Лорд, он любит подчеркивать свою аполитичность. Он уже стар, этот лорд. Прежде чем встать, приходится долго массировать поясницу. Потом осторожно можно начать разгибаться.

— Стар, — усмехнулся лорд. — Я стар, Бернс. Понимаете?

— Не понимаю, сэр.

Лорд оценил шутку. Он кивнул головой и пошел к столу. Бернс залюбовался его походкой — осторожной, плавной, твердой. В этом человеке все было продумано, все до самых последних мелочей. Он достал сигары из деревянного ящичка тоже каким-то особенным, мягким движением руки. Сигара была длинная и тонкая, черного цвета.

Из Бразилии.

— Курите, — предложил лорд Бернсу.

— Спасибо, сэра. Я не курю.

— Скоро начнете, — улыбнулся лорд. — Очень скоро начнете, поверьте мне.

Бернс пожал плечами. По манере держать себя он англичанин. Пожалуй, даже шотландец, потому что для англичанина он слишком резок в жестах и дерзок в словах. Но чуть раскосые глаза, смуглая кожа, нос тонкий, с горбинкой делают его похожим то ли на перса, то ли на индуса.

Лорд раскурил сигару и осторожно опустился в кресло около камина.

— Мне говорили мои друзья, Бернс, что вы человек с большими способностями. Поэтому я и пригласил вас... Вы, конечно, знаете, что моим ситцем можно обернуть земной шар пять раз подряд. Но это филантропия. Заниматься экипировкой земли я не собираюсь. Об этом достаточно заботится господь наш, меняющий одежды земли четыре раза в год. Я должен одевать моим ситцем людей, я должен продавать мой ситец. Ясно?

— Ясно, сэра. Вы должны продавать свой ситец.

— Можете не повторять. И никогда не соглашайтесь вслух. Вас могут заподозрить в неискренности.

— Ясно, сэра, — улыбнулся Бернс.

Лорд пожевал губами, внимательно разглядывая лейтенантский мундир Бернса. Потом скользнул глазами по его лицу.

— Словом, вы хотите перейти к главному, не так ли?

Бернс смотрел на лорда и молчал. Тот снова пожевал белыми губами, в быстрые доли минуты обдумывая, взвешивая, сопоставляя, принимая решение. Решение принято.

— Ну что же! Мне это даже нравится... — Лорд в последний раз взглянул на Бернса и стал говорить: — Пусть в парламенте болтают о русской угрозе Индии. Язык дан для того, чтобы работать им. Взоры России не обращены к Индии, это говорю вам я. Поэтому, казалось бы, Афганистан нас может сейчас не беспокоить. Но каждая минута имеет свой цвет. Минуты бегут, цвета меняются. Нас очень скоро заинтересуют среднеазиатские ханства. Выгоде подчинена политика. Я буду помогать вам убедить некоторых досточтимых господ в том, что купцы Хивы и Бухарин должны ездить на ярмарки не в Нижний Новгород, а в Индию. Именно это и заставит вас вплотную заняться Афганистаном, Бухарой и Хивой. Путь в срединные районы Азии лежит через Кабул и Кандагар...

Лорд осторожно поднялся с кресла, потер спину. Потом протянул Бернсу сухую руку и сказал:

— Вам будет легко работать, потому что вы вне конкуренции. У русских нет людей, знающих Восток. Вас ждет слава, Бернс, это говорю я.

Через несколько дней Бернс отплыл в Бомбей.

4

Тимофей разбудил Виткевича еще затемно, с первым криком петуха. Почувствовав на плече руку, Иван вздрогнул всем телом и открыл глаза.

— Что, что?! — спросил он, вскакивая.

За долгие месяцы этапа он привык просыпаться сразу, по первому окрику. Только там было хуже: на руках висели тяжеленные пудовые цепи, за ночь руки делались чужими. Сейчас, впервые за весь пройденный путь, он ощутил блаженство, истинное блаженство. Руки были свои, мягкие. Кожа у кистей не стерлась, не кровоточила, пальцы сгибались свободно, без хруста и тугой боли в суставах.

Сено пахло так чудесно, что казалось, вместе с запахом его в тело входило само здоровье. Иван подумал, что здоровье, наверно, должно быть похоже на тот пшеничный, прижаренный сверху хлеб, которым его угощала вчера дочь Ставрины, Наталья.

Раньше, до ареста, Иван считал, что за Москвой мир кончается. Там пустыни, зной, голод. А ведь нет! И земля есть, и люди есть. Добрые люди, добрей многих, с которыми Ивану приходилось встречаться за его короткую жизнь.

— Собирайся, барин, — сказал Ставрин. — Идти нам пора, а то их благородие рассерчат. И не говори им, что у меня отдохновение имел, — не сносить нам тогда головы.

— А разве я не у тебя жить буду? — удивился Иван.

Ставрин шумно вздохнул. «Дите, чисто дите, — подумал Тимофей, — никакого ведь соображения не имеет, что ему здесь за судьбина уготовлена. Не дай бог мужику такое, а он дите, да еще барское».

За Уралом занималась заря. Петухи, словно приветствуя рождение дня, голосили отчаянно громко, стараясь перекричать друг друга.

Не доходя шагов пятидесяти до дома батальонного командира, Ставрин начал ступать на носки, затаил дыхание.

— Нашего батальонного сейчас нет, в России он, папенька у них помирают, — пояснил Тимофей. — А так они человек очень хороший. А заместо них пока что зверь лютый. Спаси боже...

Во двор Ставрин вошел первым. На крыльце, в расстегнутой рубашке, в порыжелых грязных панталонах, заправленных в мягкие чевяки, сидел маленького роста человек и допивал стакан водки. Допив, он вытер ладонью тонкие синие губы, глубоко подышал носом, покачал сокрушенно головой и только после этого закусил хрустящим малосольным огурчиком. Кончив жевать огурец, ротный командир Ласточкин посмотрел на пришедших улыбочивыми голубыми глазами. Вытянувшись, Ставрин пошел к нему, высоко, чуть не до груди, вскидывая ноги, прижав руки к бокам так сильно, будто хотел вдавить их внутрь себя.

— Зравь жа ваш бродь, — гаркнул он таким зычным голосом, что Иван, не удержавшись, засмеялся.

Он понимал, что смеяться никак нельзя, что это обидно и для Ставрины и для ротного, но чем яснее он это понимал, тем неудержимей становился его смех.

Ласточкин посмотрел на Ивана веселыми глазами и покачал головой. Ставрин доложил, что ссыльный бунтовщик доставлен в Орскую крепость в целости и сохранности. Ласточкин кивнул головой и спросил, ни на кого не глядя:

— Чего смеешься, сучья харя?

Сказал он это негромко, тщательно выговаривая букву "с". Иван посмотрел на Ставрину. Он подумал, что этот вопрос относится к солдату. Он не мог представить себе, что ротный, может быть дворянин, обращается так к нему, к Ивану.

— Ну?! — заорал Ласточкин и, вскочив с крыльца, пошел прямо на Виткевича. — Ты что молчишь, пес? Я с тобой в цацки, что ль, играю? Как стоишь перед командиром, сопля?

У Ивана сжались кулаки: никогда, даже во время суда и этапа, с ним никто так не смел разговаривать.

— Вот что, ссыльный. Отныне строевыми приемами заниматься будешь у меня. По восемь часов в день. И так до тех пор, пока не выучишься с командиром вести себя надлежаще.

...На плацу, сжигаемом острыми лучами солнца, стоял Иван, одетый в рваную, не по росту шитую форму, а в тени, под вязами, на

раскладном стульчике сидел Ласточкин и командовал:

— И-раз! Выше ногу! Еще выше! В колене не гнуть! Хорошо! И-раз! Шагом арш! С песней! Пой! Пой! «Солдатушки, — пой, — бравы ребятушки!»! Бегом! И-раз! Пой, пой!

Когда Ласточкин уходил спать, его чаще других заменял унтер Савельев. Однажды Иван попросил у него разрешения напиться.

— А льду хочешь? — засмеялся Савельев и оскалил острые, пожелтевшие от табака зубы. — Ледку, может, принести барину?

Иван начал считать про себя, чтобы не заплакать. Но слезы туманили глаза. За плацем, около вязов, склонившихся над Бычьим озером, стояло несколько солдат, наблюдавших за учением. Впереди всех стоял Ставрин.

— Савельев! — негромко крикнул он и быстро поправился: — Господин Савельев, дай я ему водицы принесу. Не заметят ведь их благородие.

— Ты чего? К нему, может, хочешь? В кумпанию? Проваливай, — огрызнулся унтер и снова начал командовать, подражая Ласточкину. — И-раз! И-раз! Выше ногу! Руки в шов!

Унтер, слава богу, не требовал, чтобы Иван пел. Ласточкин, вернувшись, потребовал:

— До ночи прогоняю, а петь научу, — пообещал он Виткевичу. — Шагом арррш! Пой! Пой! Пой!

И Виткевич запел.

— Громче! Громче! — кричал ротный, пряча улыбку.

"Милая, бесценная моя маменька!

Не знаю даже, смогу ли передать вам эту весточку, но все же пишу, надеясь на оказию. Моя теперешняя жизнь не должна внушать вам беспокойства. Я нахожусь здесь среди милых людей, которые понимают мое положение и чем могут помогают мне. Так что, милая моя маменька, ни о чем дурном не думайте и не верьте никаким слухам, которые, возможно, дойдут до вас.

Сейчас здесь поздняя осень, и над крепостью нашей беспрестанно летят утки и гуси. Здесь их такое множество, что даже неба иногда за ними бывает не видно.

То время, которое остается у меня свободным от всяческих занятий и военных экзерсисов, я посвящаю

тому, что упражняюсь в английском и французском языках.

Тут есть в крепости несколько человек киргизов, так я думаю по прошествии некоторого времени начать их язык постигать. Кто знает, может быть, и азиатские языки мне когда-нибудь пригодятся. Я видел два раза, как мимо крепости проходил караван из Бухары, далекой и неведомой страны, в Оренбург, и сердце мое заныло.

Я вспомнил те истории про путешественников отважных, которые вы мне рассказывали.

Через полгода мне исполнится шестнадцать лет, а это значит, что уже два года я не мог припасть к вашим рукам. Бог милостив, может быть, вы, не в ущерб здоровью своему, соблаговолите еще раз попробовать похлопотать о смягчении участи моей.

Целую ваши руки. Иван Виткевич".

5

— Смотри, Иванечка, клюет, — шепнул Ставрин и сжал руку Виткевича повыше локтя, — клюет, окаянная.

Он на цыпочках подбежал к удочке, вытащил из песка гибкий ивовый прут, на который была намотана леска, и рывком подсек. В белых лучах солнца забила плотвичка. Ставрин снял ее с крючка, скатал еще один хлебный шарик, насадил его и закинул грузик прямо на середину тихой речушки.

— Я говорил, прикорм дай — будет ушица...

Ставрин и Виткевич еще со вчерашнего вечера ушли из крепости: искать для покоса луга посочней. Тимофей нес на плечах тяжелый мешок с хлебом, салом, картошкой, а Иван — удочки. Он попробовал было подменить Ставрину, но тот рассмеялся: широко раскрыл рот, захватил воздуху, зашелся. Вытер слезы, покачал головой. Сказал:

— Да я и тебя, коль хочешь, тож в мешок посажу. Груз — он для землешца приятный, коли свой.

Так и шли они по душистым травам: впереди широкий в плечах, кряжистый Ставрин, а позади — худенький вихрастый Иван.

Вчера, уже глубокой ночью, когда на небе зажглись звезды и, быстро отгорев, стали падать одна за другой на тихую полынную

землю, Тимофей остановился, сбросил с плеч мешок и пошел искать место для ночлега. Степь звенела ночным безмолвием. Легкий ветер путался в стройных ногах трав.

— Эй, Иванечка! — крикнул Тимофей через несколько минут. — Иванечка, иди-ка сюда... Да не бойсь, тут песок.

Иван перетащил на голос Ставрина мешок и удочки. Тимофей разложил костер, напек картошки, покормил Ивана хлебом с салом и уложил спать подле себя, укрыв маленьким узорчатым ковриком, который он выменял за бесценок у караванщиков бухарских.

Наутро они двинулись дальше. Высоко в небе звенели жаворонки. Радовались солнцу васильки и большеголовые, словно дочери ставринские, ромашки. Все окрест дышало беззаботностью и спокойствием, безмятежным, как ребенок.

С наступлением мягкого, тихого вечера они снова остановились на ночлег у реки — маленького притока Тобола.

— Ох, и ушицей я тебя попотчую, — хвастался Ставрин, высекая искру, — что солнце да луна-красавица в завистях будут.

Костер метался по ветру, ломая поленца, выстреливая маленькими головешками. Запрокинув голову, Иван пил вкусную клейкую уху. От наслаждения жмурился.

— Слово кот, — сказал Тимофей ласково и вытер ладонью свои белые усы, — коты всегда так жмурятся. А вот, батюшка мой, знаешь, на восток-стране такие коты есть, что одним глазом моргнуть и в сей же миг дождь — айда — пошел!

Иван усмехнулся.

— Что я тебе, сказку выдумываю, что ль? — рассердился Ставрин. — Мне Ахмедка, по-русски Ванька значит, говорил про то. Ахмедка — он старый. Караваны в Бухару гоняет... — Тимофей приблизил свое лицо с расширившимися зрачками глаз к Ивану и прошептал: — Он рассказывает, будто за полями за этими, за Устюрт-горой, ничего больше нет. Все в яму провалено. Гам обратно черти. Как туда зайдешь, так горячим песком в очи швыряются. И-и-и, гибель чистая. А коты те сидят да высматривают: какой человек ласковый, по шерсти гладит, встречу руку не ведет, такому человеку глаз один закроют, вроде бы подморгнуть, и для него в тот же минут дождичек. Песок-то остынет да и осядет. Тут знай бежи. День бежи, два бежи. Пока в Бухару-страну не придешь. А там бусурманы в белых шапках ходят, крестом не крестятся. А еще там оборвыши есть, что тряпки на голову заматывают. Те, сказывал Ахмедка, люди душевные, хорошие. Голый человек — всюду душевный: у

бусурман ли у проклятых, у нас ли, христиан православных... А еще сказывал Ахмедка, будто там такие люди ходят, что как на дудке-свиристелочке заиграют, так змеи перед ними на хвосты становятся.

— Ну уж, Тимофей, ты что-то не то говоришь, — судорожно сглотнув, отозвался Иван и еще ближе подвинулся к Ставрину.

— Как так не то? Ахмедка выдумки сказывает али что?

— Дикий он, оттого и сказывает вздор.

— Ай, батюшка Иванечка, почему ты эдакие слова говоришь? Не дичей нас с тобой Ахмедка. У него дочка есть да сынов пять душ. Нешто у дикого малы дети родятся? А добрый какой! Чего у него попросишь — все отдаст, не пожалеет.

— Это какой же Ахмедка? Беззубый такой?

— И ничего он не беззубый, — рассердился Ставрин, — у них, может, закон такой, чтоб без зубов... А ты — беззубый!

— Не сердись, Тимофей, — попросил Иван, — я ведь не знаю.

— Спроси. Язык-то для чего даден? Язык даден, чтоб им спрашивать вопросы, — Тимофей вздохнул. — Только вот у меня хучь язык имеется, однако спросить я у Ахмедки ничего не умею. «Тары, бары, растабары» мы с ним. То рукой, то головой, то очами беседуем.

Костер стал затухать. Тимофей ушел за хворостом. Иван смотрел в ночь и видел диковинные страны, огненные пустыни и людей в белых шапках. Когда Ставрин вернулся, Иван сказал задумчиво:

— Вот бы их язык выучить, Тимофей...

Ставрин рассмеялся:

— Да разве такое возможно? Чтоб бусурманский язык учить? Душу опоганишь...

— А сам говорил — он хороший, Ахмедка-то...

— Ну тя, барин, — в сердцах сказал Тимофей, — совсем ты меня запутал. Спи знай...

Глава вторая

1

Иван возвращался с реки к себе в казарму. Он только что выкупался, хотя ротный ему купаться не разрешал.

— Еще уплывешь куда, — хмурился Ласточкин, — а ты фрукт не простой, а особенный.

Сегодня с утра ротный уехал в Оренбург. По крепости прошел слух, будто на днях должен возвратиться батальонный командир Яновский. Говорили также, что Ласточкин старается оформить свой перевод в Ново-Троицкую крепость, что отстояла от Орской верстах в тридцати пяти: ротный никак не уживался с батальонным. Это было известно в крепости всем, и все мечтали о том, чтобы Ласточкин перевода добился.

Воспользовавшись отсутствием ротного, Иван полчаса резвился в теплой воде. Вода была такая прозрачная, что было видно даже, если нырнуть головой вниз и там, на глубине, открыть глаза, как перекатывался песок на дне и, отскакивая друг от друга, медленно металась рыба.

Иван выпрыгнул на поверхность, как пробка, быстро, со смехом. Было весело, хорошо. Он стер ладонями капли воды с тела. На груди набрякли мышцы, и Иван с удовольствием и затаенной гордостью попробовал пальцами крепость их. За два года солдатской службы окреп, закалился. Не одеваясь, он сел на песок, к самому берегу, а ноги протянул в воду. Маленькие рыбешки тут же заметались вокруг пальцев. Иван почему-то подумал: «Мне бы так в гимназии науки созерцать, как я здесь рыб созерцаю».

Он вспомнил, как преподаватель изящной словесности в Крожской гимназии сказал однажды:

— Виткевич не способен к серьезным размышлениям, но пристрастность имеет ко всему быстрому и неустойчивому.

Преподаватель был философ и любил выражаться, как он сам говорил, категориями.

Иван, не торопясь, оделся и пошел в крепость. Огибая гарнизонную гауптвахту, он улыбнулся, вспоминая гимназические годы и особенно словесника. Он вспоминал одновременно то, что было два года назад, и то, что было всего десять минут назад. Иван

радовался, заново переживая только что сейчас пережитые ощущения купанья. Ощущения были новые, пропущенные через легкую горечь воспоминаний. Но и новое ощущение с каждым шагом к казарме становилось далеким, оттого что все приятное быстролетно.

Навстречу шла женщина, высокая, сильная, красивая. Раньше Виткевич не видел ее в Орске. Он остановился. Женщина, увидев его, улыбнулась. Улыбка у нее была добрая.

— Ты откуда такой молоденький? — спросила она, поравнявшись с Иваном. — Неужели такие мальчики в солдатах служат?

— Да, мадам, — ответил Иван, краснея.

— Что? — переспросила женщина, и глаза ее, большие, голубые, с точечками вокруг зрачка, сразу же перестали улыбаться. — Что ты!... Вы сказали?

— Сказал, что я солдат, мадам, — повторил Иван, смущаясь еще больше.

Вот она, та прекрасная, что снилась ему ночами, что грезилась в серые зимние вечера, когда пурга бушевала по степи. Властная, красивая, нежная, умная. Она все поняла. Даже глаза потухли, стали темней, строже.

— Почему вы так молоды и солдат? Вы сделали что-нибудь плохое?

— Нет.

Женщина шагнула к нему и провела своей рукой по лбу Ивана, убирая назад белые, выгоревшие на солнце кудри. Отдернула руку быстро, резко. Покраснела, как Иван, — от шеи. Повернулась и пошла прочь.

Это была жена батальонного командира Яновского. Анна только вчера приехала из столицы. Ее брат, офицер флота, был сослан в Сибирь после прошлогоднего декабрьского бунта. Анна очень любила своего единственного брата, очень уважала мужа и очень тосковала по Петербургу. Но ей было двадцать лет, и она радовалась жизни, несмотря ни на что.

2

"В крепость давеча приехал батальонный командир подполковник Яновский, — записал в своем дневнике Виткевич. — В тот же день он пришел в казармы, поздоровался с солдатами.

Меня он спросил о здоровье. Я настолько отвык от подобного обращения, что ничего толком не ответил. Ласточкин, при сем присутствовавший, шепнул подполковнику, что я ссыльный злодей и фармазон, оттого такой дикий. Тот ничего на слова сии не возразил, однако поздно вечером за мною явился его денщик и велел следовать к подполковнику. Яновский был со мною отменно любезен, спрашивал о детстве моем и юности. Я наслаждался беседою с человеком умным и изысканным. В конце нашего разговора подполковник сказал такое, что у меня даже голова закружилась от восторга. То, что он сказал, даже бумаге доверять не должно.

Следует помнить немцев: «Was wissen zwei, das weis das Schwein»^[2]. Так вот этим вторым может оказаться бумага: я знаю, что мой дневник просматривает Ласточкин...

Когда я переспросил подполковника, так ли мне следует понимать смысл сказанного им, то в ответ он улыбнулся тонко и сказал мне по-английски: «Words, words, they are lie flames in night»^[3].

3

В отношения между Виткевичем и Ласточкиным после года измывательств ротного над Иваном вошло нечто новое. Должно было произойти что-то, что изменило бы их отношения до конца. Не произойти этого не могло, потому что Виткевич стал другим. Многое в нем сломалось, многое изменилось в корне, появилось то новое, что присуще мужчине, не мальчику и даже не юноше. Недаром считается год в неволе десятью годами на свободе. В неволе каждый день требует переоценки ценностей.

День — это жизнь, а жизнь сурова к тем, кто не умеет быть с нею в ладу.

Не прошли даром «строевые занятия» с Ласточкиным, не прошли даром оскорбления и радости, надежды и разочарования. В Виткевиче что-то бродило, ожидая своего воплощения в новые формы. В человеке всегда рождается новое, но в зависимости от окружающей среды быстрее или медленней.

Ротный ненавидел Ивана за упрямство: мальчишка часами простаивал под солнцем на плацу, мерз в студеные ночи в караулах, но молчал, не просил «пardonу».

Ласточкин, будучи по характеру своему человеком слабым, приходил в бешенство, сталкиваясь с этим молчаливым упорством, которое по прошествии двух лет выглядело настоящим вызовом. И Ласточкин изо дня в день придумывал, чем бы еще досадить Ивану, как бы вогнать его в бешенство, а вогнав, всыпать шпигрутенгов и отстать.

Около плаца часто собирались любопытные, наблюдая солдатские учения. Сегодня под вязами Иван увидел Анну Яновскую. Она стояла, укрывшись от солнца зонтиком, и неотрывно смотрела на Виткевича. Ротный заметил, как женщина смотрела на ссыльного. Он наморщил лоб, обдумывая что-то. Потом улыбнулся своею особенной, веселой улыбочкой и сказал громко, так чтобы услышала и Анна:

— Ну, дружок, сегодня для тебя новый экзерсис будет. Выйди из строя, Виткевич.

Иван вышел из строя. Вдруг, совсем по-мальчишески, ему захотелось, чтобы ротный заставил его выполнять строевые упражнения. Иван считался самым лучшим солдатом в крепости по строевой команде.

Ночью прошел дождь, и веселые рожицы луж блестели под солнцем. На плацу луж было особенно много, оттого что поле находилось в низине, недалеко от Урала.

— Так вот, дружок мой Виткевич, — продолжал ротный. — Сейчас ты у меня ползать будешь. По лужам. Два часа кряду. Ничего, ничего, не замараешься. От земли грязь не пристаёт.

Виткевич стоял секунду, колеблясь. Потом, побледнев, не сказав ни слова, он лег в грязь и пополз. Он не видел, как Анна зажмурила глаза и, повернувшись, побежала прочь. Сначала она быстро пошла, потом все скорей, скорей и, наконец, побежала, придерживая рукой платье, попадавшее все время под ноги.

Иван полз, не поднимая глаз, страшась увидеть лицо Анны. Только один раз он взглянул на Ласточкина, да так взглянул, что у того сразу похолодели руки. У трусов всегда холодеют руки.

Вечером, возвращаясь домой от батальонного, который его к себе вызывал, Ласточкин столкнулся с Виткевичем около дверей своего дома. Остановился. Ему захотелось убежать, потому что показалось, будто в руках у Виткевича нож. Сразу же вспомнил слова Яновского, который пообещал посадить его на гауптвахту, если он еще раз разрешит себе издеваться над солдатом, хотя бы и ссыльным. Виткевич шел прямо на Ласточкина. Ротный начал

пятиться. Виткевич прыгнул, схватил его за отвороты сюртука и рванул на себя. Ротный поднял руки к горлу и попытался расцепить пальцы Ивана. Не смог.

— Что такое? — спросил он шепотом. Кричать не рискнул.

Виткевич приблизил к себе лицо Ласточкина и негромко, спокойно сказал:

— Через три дня вашей ноги здесь больше не будет. Никогда. Для таких подлецов, как вы, вся Россия открыта. Для меня в России только одно место есть, и вдвоем в этом месте нам не ужитья. Я убью вас, ежели вы в крепости останетесь. Вы сами меня таким сделали, сердца у меня нет. Поняли вы меня?

— Да, понял, — быстро ответил Ласточкин.

— Если через три дня вы не уедете — пишите завещание. Все, — сказал Иван и отпустил пальцы.

Пятясь задом, ротный пошел к дому, храня на лице застывшую гримасу ужаса.

Виткевич говорил неправду: сердце у него было. Сердце бешено колотилось в горле, в глазах, в груди. Много жарких, сильных сердец. Он шел и улыбался. Он победил первый раз в жизни.

4

Не разгадан лик сфинкса. Какие чувства и мысли спрятаны резцом ваятеля в холодном безмолвии камня?

Если сопоставить с лицом сфинкса людей, объединенных тесными рамками нации, то наверняка самой сопоставимой окажется нация русских.

И в шумной вольнице, рожденной сладкими степными ветрами, и в суровую годину декабрьского бунта, и в униженной покорности будней — всегда народ России смотрел на чужестранца загадочным лицом сфинкса. Лицом всепонимания, улыбки, лицом большой, страдающей, доброй мысли.

Кто бы мог подумать, что в России, задавленной тупоносим сапогом Николая I, после слез Пушкина, после утонченной ненависти Чаадаева, после крови Рылеева и Пестеля могли теплиться дерзкие мечтания о ниспровержении тирании? Мечтания эти, спрятанные под седым пеплом костей, тлели голубыми лихорадочными огоньками, но порой вспыхивали жарким

пламенем, искры которого разлетались далеко окрест, зажигая священным огнем сердца людей других племен и наций.

5

Однажды к Яновскому в Орск приехали под вечер два солдата из соседней крепости.

Увидав приезжих, подполковник несказанно обрадовался, разволновался. Послал за Виткевичем своего денщика. Когда Иван прибежал к подполковнику, тот радостно улыбнулся и сказал:

— Познакомьтесь, друзья. Иван, это Бестужев и Веденяпин, ссыльные в солдаты. Они декабристы.

Веденяпин крепко пожал ему руку, а Бестужев, прижав к груди, расцеловал.

Эти два сильных, мужественных человека сыграли в дальнейшей судьбе Ивана огромную роль. Декабристы, они великолепно усвоили великую истину французской революции, истину, сформулированную тремя словами: Свобода, Равенство, Братство.

Они хотели свободы, равенства и братства всем, вне зависимости от национальной принадлежности. Они внушали эту святую истину Ивану всякий раз, как встречались.

Правда, виделись друзья редко, чаще переписывались, посылая весточки друг другу с Тимофеем Ставриным.

"Дорогой Друг и Брат Бестужев!

Сейчас, заново припоминая весь наш разговор, когда мы просидели у Яновского не один час, хочу, воспользовавшись надежной оказией, переслать тебе свое согласие со многим из того, что ты говорил, с чем я раньше никогда бы не согласился. Но кой в чем я остаюсь при своем мнении.

Только великая, свободная Польша может быть для меня тем, во имя чего стоит жить, а при надобности — и жизнь отдать. И как бы ты ни говорил, что тиран в любом обличье тираном остается, все равно я пока своему верен. Тебе трудно понять меня, потому что ты не поляк. Твоя борьба и моя борьба единственны в своей первой цели. Но следом за тем наши пути расходятся. Ты понимаешь, конечно, о чем я сказать хочу. И ежели ты можешь делать

то, что делать должным считаешь по всей империи, то я могу сделать свое дело только в Польше. А для сего-то я и хочу план свой, который только тебе известен, Веденяпину да моему другу Песляку, что рядом в крепости пребывает, в исполнение привести, в Польшу вернуться и там отдать жизнь борьбе.

Иван — Твой Брат".

...Ответ от Бестужева вскоре пришел. Иван жадно разорвал конверт.

"Дорогой Друг и Брат Виткевич!

Хочу я тебя спросить только об одном: не будь в Орской крепости Яновского, Ставрина, не будь других солдат, всех тех, о которых ты говорил мне с такою любовью, не будь всех их вокруг тебя, русских по духу и по крови и по сердцу, — остался бы ты в живых? Не пустил бы в действие тот пузырек с ядом, который показывал мне?

Зная честность твою, за тебя же и отвечу: нет, не перенес бы тех мук, на которые был обречен.

Так почему же ты можешь тогда, в мыслях даже оставить всех этих людей без помощи своей и заботы? Почему ты только о себе и своих соплеменниках радеешь?

Убежденность твою теперешнюю в идее только национальной считаю юношескою, себялюбивой, недостойной тебя именно из-за себялюбивости. Что касается плана твоего — так о нем надобно много и разумно подумать. Ежели моя последняя попытка успехом не увенчается, я, быть может, окажусь тебе полезным в совете иль помощи.

Твой Брат и Друг Бестужев".

Но последняя попытка, о которой писал Бестужев, увенчалась успехом: по монаршей «милости» Бестужев был переведен в действующую армию, на Кавказ, под пули горцев.

Виткевич снова остался один, наедине со своею мечтою, которая с каждым днем становилась все навязчивее. Правда, после бесед с Бестужевым Иван не был так силен в своей вере быть полезным только Польше, как раньше. Разбросанные, не

оформившиеся в единое целое мысли бродили в нем. Но мечта о побеге, о борьбе, о необходимости приносить пользу была с ним даже во сне. Он просыпался по утрам с улыбкой на лице. Тимофей Ставрин, у которого после скоропалительного отъезда Ласточкина жил теперь Виткевич с разрешения батальонного командира, глядел на Ивана маленькими добрыми глазами и шептал:

— Бог, он добрый. Все знает...

Иван часто видел Ставрину над собою рано по утрам. Тимофей что-то шептал. Иван не понимал всех слов. Но чувствовал — тот молился о счастье...

6

Крепость Орская засыпала сразу. Сначала тушили свечи у отца Леонида. Потом, словно по сигналу, гас свет в окнах коменданта, ротных командиров. Орск засыпал.

Только иногда свет продолжал гореть в окнах у Яновского. В синий воздух летели тихие аккорды клавесина. Ночи были темные, августовские.

Иван возвращался с рыбалки. Около дома Яновского он повстречался с командиром второй роты Фыриным. Тот шел в сопровождении мальчишки-персиянина. Днем мальчонка бегал по пыльным улицам Орска вместе с русскими ребятишками.

Веселился, смеялся, широко раскрывая свои щелочки-глазенки. Часто он стоял под ивами вместе с ребятами, наблюдая, как солдаты маршировали на плацу. Солдаты говорили Ивану, будто он сын какого-то везира восточного и отбилсЯ от племени отца. А посему очутился в Орске.

Сейчас он бежал впереди Фырина и плакал. Мальчонка считался фыринским человеком, но в крепости все прекрасно знали, что Фырин не уплатил за него и ломаного гроша, потому что платить было некому.

Фырин был здорово пьян, а мальчонка боялся пьяных до смерти, несмотря на то, что ротный был человек добрый и никому плохого не делал преднамеренно.

— Что ты слезы льешь? — бормотал Фырин, спотыкаясь о застывшие после недавнего дождя комья грязи.

Мальчонка плакал навзрыд и не отвечал.

— Да не рыдай, дитя! — пропел Фырин высоким голосом.

Это рассмешило Ивана. Он подошел к Фырину и поприветствовал его. Фырин остановился и, раскачиваясь, уставился в лицо Ивана. Узнал. На приветствие ответил ласково: как и все в крепости, он знал, что ссыльного любит Яновский.

Фырин положил руку на плечо Ивану и начал жаловаться на жизнь. И счастья нет, говорил он, и денег нет.

— Может быть, вы мне, ваше благородие, мальчонку продадите? Я уплачу хорошо, вот вам и деньги появятся... — предложил Иван отчаянно дерзко.

— Тебе? А зачем? — задумчиво спросил Фырин.

Иван даже не успел объяснить ротному, что мальчугашка маленький совсем, по дому тоскует, по Азии. Фырин не дослушал его, закрыл глаза и закричал:

— Сатисфакцию! За оскорбление — кровь! Сатисфакцию! — последнее слово ротный пропел высоким голосом.

По-видимому, пение ротного командира заставило Яновского выйти на крыльцо: все это происходило в десяти шагах от окон его дома.

— В чем дело, господа? — негромко спросил подполковник.

— Ваше высочество! — загремел Фырин. — Ссылный в солдаты Виткевич...

— Господин Фырин, — перебил его Яновский строго. — Вы столь вольны в употреблении титулов, что я опасаюсь последствий, для вас неприятных.

— Прошу простить, господин подполковник, ошибка зрения! А-аднака, господин подполковник, я требую сатисфакции.

— Офицер у солдата? — поднял брови Яновский. — Стыдитесь, друг мой. В чем хоть причина?

— Я хотел купить у... — начал Иван, но Фырин перебил его.

— Он хотел купить у меня перса моего. Дай поцелую, орда, — обернулся он к мальчику. — Мало вы нас в ярме держали, чингисханы проклятые!

Яновский рассмеялся. Иван впервые слышал такой веселый смех у подполковника.

— Я бы на вашем месте продал, — перестав смеяться, сказал Яновский. — Право же, нам, грешникам, это зачтется.

Подполковник знал слабое место Фырина: ротный любил каяться, жаловаться на жизнь, на грехи. Есть такой сорт людей, которым это доставляет наслаждение.

— А зачтется? — усомнился Фырин.

— Наверняка, — успокоил его Яновский.

— Ну, тогда продам. Прощай, душа моя, киргиз! — пропел ротный и, откозыряв подполковнику, пошел по улице, спотыкаясь все время о комья грязи.

— Благодарю вас, Александр Андреевич, — сказал Иван, — очень благодарю.

Яновский задумчиво посмотрел на Ивана. Спросил:

— Зачем он вам, право? Денег у вас и так мало...

Мальчонка глазел на Ивана и всхлипывал прерывисто.

— А я отпущу его в степи.

— Сейчас поздно. Караваны ушли. Вы знаете, когда ходят караваны на Восток?

— Нет.

— Приходите ко мне, я поясню вам. А мальчонку вам придется у себя держать. — Яновский посмотрел на Ивана ласково. — И то польза. Языку персиянскому выучитесь. А там видно будет. Может, пригодится когда... Ну идите, пора уж. Прощайте.

— Как тебя зовут? — спросил Иван мальчика.

— Садек.

— Пойдем ко мне, Садек, — сказал Иван и впервые почувствовал себя человеком, отвечающим за жизнь другого человека. Вернее, даже человечка. Маленького, испуганного, с раскосыми, удивительно добрыми и нежными глазами.

7

Однажды Садек разбудил Ивана в предрассветные сумерки, когда в небе еще тлели звезды и небо казалось то черным, плотным, то серым, прозрачным.

— Скорей, скорей! — торопил Садек, помогая Виткевичу одеваться. — Скорей вставай, караван пришел, у ворот стал, до утра стоять будет, ух, как интересно!

Глаза мальчика горели, и даже под коричневым загаром было видно, как у него на скулах выступили красные пятна.

Виткевич любил смотреть на караваны, которые проходили мимо Орска. Ни разу еще караван не останавливался кочевьем около крепости: все торговцы бухарские проходили мимо Орска, направляясь прямо к Оренбургу, в караван-сарай. Однажды около крепости стали несколько погонщиков с пятью верблюдами из-за того, что основной караван прошел, а у них проводника, знавшего

кратчайший путь к Оренбургу, не было. Ночью погонщики идти не решились и поэтому остались около крепости. Но тогда Иван не знал ни одного киргизского или таджикского слова. Да и Ласточкин не сводил с него глаз.

Сейчас, после того как Садек полгода прожил с ним под одной крышей, Иван выучил немало персидских слов. С Садеком он разговаривал только по-персидски и после двух месяцев, к величайшему изумлению и радости мальчика, стал разговаривать бойко, с хорошим выговором.

Как-то зимой Садек захворал, Иван делал ему компрессы, растирал ребра салом, а по вечерам рассказывал сказки. По-персидски они звучали так же хорошо, как и по-русски. Выздоровев, Садек присочинил к этим сказкам что-то свое и принялся рассказывать их киргизам, жившим в крепости. С тех пор о Садеке пошла молва как о великом сказителе, который хотя и молод годами, но мудр разумом.

Поэтому сегодня ночью, когда караван стал кочевьем около крепостных ворот, киргизы пришли за Садеком, чтобы познакомить мальчика-сказителя с купцами и погонщиками, прибывшими из Бухары. А Садек, желая отблагодарить Ивана за все то, что он для него сделал, потащил его с собой.

Так вот оно какое, кочевье!

Верблюды, костры, быстрый гортанный говор погонщиков, ночь, высокое небо и низкие звезды, тишина и в то же время гомон.

В кочевье, хотя погонщики только что расставили палатки, уже установился особенный, ни с чем не сравнимый запах: дыма, острого сыра и сухой полыни.

Старик, к которому Садек подвел Виткевича, взял руку Ивана двумя руками и крепко пожал ее.

— Спасибо тебе за мальчика, — сказал он, — за нашего мальчика.

— Полно вам, — ответил Иван, но улыбнулся, сразу же сообразив, что старик ничего по-русски не смыслит. Повторил по-персидски. — Не стоит благодарности.

— А это уж я знаю лучше, чем ты, стоит или не стоит...

Иван засмеялся. Старик растерянно посмотрел на Садека: «Как можно смеяться над словами собеседника? Да еще старшего по возрасту?» Садек покраснел, и, словно извиняясь, сказал Ивану:

— У нас нельзя смеяться над словами того, с кем ведешь беседу. И потом он старик — значит, он мудр...

Уже много лет спустя Иван вспоминал, что этот урок был для него очень важным, если не самым важным в жизни.

— Прости меня, — сказал Иван, — и большое тебе спасибо за твою благодарность. Но я не мог иначе поступить, ведь я человек.

— Ты пока еще не человек. Ты ребенок, ты немного старше Садека, а детям подчас свойственна жестокость. И это хорошо, потому что будущее мальчика — это будущее война.

— Я не хочу быть воином.

Старик недоверчиво усмехнулся.

— Можно не хотеть ночи, дождя или снега. А вот не хотеть быть воином...

— Я не хочу быть воином, — упрямо повторил Иван.

— Чего же ты хочешь? Может быть, ты хочешь стать Хаямом? Или Ибн Синой?

— Я не знаю, кто это.

Старик покачал головой.

— В этом лучше не признаваться. Так чего же ты хочешь?

— Я хочу много знать и еще больше видеть, — Надо точно знать, чего хочешь.

Иван смутился:

— Я не знаю точно. Многое...

— Ты не на базаре. Говорить с другом надо просто и честно. «Многое» — это значит совсем мало. Сначала приди к тому, что ты хочешь узнать, а уж потом узнавай.

Иван подумал с минуту. Потом улыбнулся и попросил:

— Мне бы сначала очень хотелось выучить арабскую азбуку. Но Садек не умеет писать.

Старик спросил:

— У тебя есть с собой перо и кагаз^[4]?

— Нет.

— Хорошо. Подожди меня. Я тебе покажу основу. Остальное изучай с Садеком. У него острый глаз и хороший ум. Мы его в этот раз не возьмем с собой — слишком труден будет путь.

Вернувшись, он протянул Ивану листок желтой бумаги и тоненькое гусиное перо, тщательно заточенное, со следами красной туши.

— Пиши. Алиф — первая буква нашей азбуки. Она одна и для таджиков, и для персов, и для афганцев. Потому что эта первая буква — арабская буква.

...Иван ушел из кочевья утром. Прощаясь, старик сказал ему:

— Мы умеем помнить то, что следует помнить. Отныне каждый наш караван, который будет идти в Оренбург, станет разбивать кочевье около Орска. Это мы будем делать для тебя. Приходи и учись, узнавай то, что хочешь узнать. И помни: сначала надо смотреть, а потом уже узнавать. Если тебе скажут, что Бухара — город сказок, не верь этому, хотя Бухара действительно город сказок. Сначала убедись, в этом, увидав, а потом реши, так это или не так... Ну, прощай! Мы должны идти в Оренбург.

Когда караван тронулся в путь, в сердце у Виткевича что-то оборвалось. Много дней после этого дня он ходил задумчивый, тихий.

...В Орск пришла весна.

8

Иван вышел из крепостных ворот. Часовые дремали, опершись о стволы ружей. Степь лежала тихая, словно женщина, утомленная лаской любимого. Играючи, пробежали тушканчики, размахивая своими веселыми, ставленными «в ружье» хвостиками с клоунскими помпончиками на кончиках. Свистели сурки — здесь необычно жирные, раскормленные, оттого что хлеба вокруг крепости убирались нерегулярно, а чаще всего и вовсе не убирались.

«И-ю-ю-юф», — просвистел сурок и замолчал, ожидая ответа подруги.

«Фю-ю-ю-и-и», — ответила та и, поперхнувшись смехом, замолчала.

«Весна», — подумал Иван ласково. Он забрался на холм, с которого виднелись подслеповатые огоньки Орска, сел на большой камень, обхватил колени руками.

"Вон за теми холмами, — думал Иван, — лежит пустыня, великая, сильная. Она всемогуща, и никто с ней никогда не справится. Она начинается сразу, наверное.

Сразу подминает под себя побеги травы и мягкие корни деревьев. А что за ней? Что за этой пустыней? Что прячут пески? Радость или горе?"

Много раз в сердце Ивана входило великое желание, холодом трогало мозг: уйти туда, увидеть, что сокрыто песками. Он часто

вспоминал длинные караваны, проходившие мимо Орска к Оренбургу, вспоминал хриплые крики караван-баши, лихую посадку наездников в жестких седлах, глаза купцов, сощуренные великим лукавством и мудростью. За тысячи верст шли они, ставя на карту не только благополучие одно. Жизнь ставили на карту. И вдруг Иван почувствовал острую зависть к ним, к этим людям — подвижникам страстного поиска, мужественным разведчикам неведомых песчаных троп.

Купец, торгош, казалось бы, а сколько видит на пути своем! Как много постигает!

Сколь многое переоценивает заново! Для него пустыня тоже начинается сразу, и он уходит в неведомое, простившись с привычным.

«За песком, за пустыней, что начинается сразу, — думал Иван, покусывая горький стебелек полыни, — за тем песком — жизнь, о которой я лишь слыхивал от маменьки, читавшей мне сказки перед сном. За тем песком — жизнь яркая, словно халаты купцов восточных, острая, как специи, привозимые ими».

Степь, озаренная белым светом луны, казалась неживой.

«Бежав туда, — думал Иван, — я теряю многое. Но за всякой потерей следует наполнение. За горем — радость. И дай бог наш всемогущий мужества сердцу, чтобы дерзнуть на познание радости неизведанного».

Подул ветер. Степь ожила. Высокие травы заговорили все сразу, радуясь прохладе, принесенной с севера.

Глава третья

1

«Итак, решено. В побег. Я уйду через пески, через Азию — в Польшу. А может быть, в Россию, к тем, кто помнит декабрь. Не знаю куда, но только на борьбу. Через час меня не будет в крепости, которой я отдал три года жизни, где я познал дружбу Бестужева и любовь Садека. Сейчас я сожгу все свои дневники, и никто никогда не узнает, что я пережил за эти годы. Никто и никогда. И никто не узнает, что я сбежал. Никто, кроме Яновского, который помогал мне и сейчас помогает. Прощай, Орск...»

Иван остановился только через несколько часов бешеной скачки. Он опустил поводья и почувствовал, как сильно дрожат пальцы. Та свобода, о которой он мечтал все эти годы, пришла. Но такой ли ждал ее Виткевич? Испуганной, напряженной, с дрожью в пальцах? Он ждал свободы и видел ее в другом облике — он видел ее гордой, прекрасной. По молодости лет он не мог знать, что порой свобода приходит вместе со страхом.

Виткевич достал карту. Тяжелый апрельский ветер рванул откуда-то со спины и чуть не порвал карту. Иван делал ее с прошлого года, беседуя с купцами и караван-баши, которые, как и обещал старик, первым учивший Ивана арабскому письму, останавливались под Орском на одну ночь.

С отступлениями и всяческими предосторожностями Виткевич расспрашивал купцов о караванном пути в Бухару и Хиву. Как-то вечером, записывая то новое, что он вынес из беседы, Иван подсчитал, что на каждый нужный ему вопрос приходилось примерно сорок вопросов бесполезных: о вкусе того или иного сорта чая, здоровье и внешнем облике родных и знакомых, погоде, охоте, одежде кочевых киргизов и дервишей из Индии, рыболовстве на Арале. Такой ритуал, обязательный в беседах с восточными купцами, сначала казался Ивану смешным и бесполезным, Только много позже он понял, какую необъятную сокровищницу составляют эти его записи и как они могут пригодиться во время побега. Разбросанные записки Иван свел в своеобразную карманную энциклопедию, переписал на маленькие листки бумаги, сшил их, обтянул кожей сурка, убитого им в степи из лука, и теперь

хранил у себя на груди в специальном карманчике, вшитом в полу киргизского халата. Иван выменял халат у погонщиков, и сейчас, в киргизской шапке, в халате и мягких сапожках, надетых поверх узорчатых, толстых носков, с реденькой юношеской бородкой, пробивавшейся на щеках, он, право же, походил на человека Азии. Иван снова оглядел себя, сказал шепотом несколько персидских фраз и засмеялся, довольный.

Пулям в Азию была посвящена другая книжечка, такая же маленькая по объему, исписанная четким, чуть заваленным вправо почерком Ивана. Наиболее тщательно Виткевич описал самые удобные дороги в Азию.

Из Оренбурга начинались три дороги. Первая вела из Орска к плато Устюрту, что взмахнулось между Каспийским и Аральским морями. Здесь, у подножий Устюрта, кочевали киргизы, которые за небольшие деньги проводили караваны через плато к Аму-Дарье, а оттуда уже лежал прямой путь в Бухару и Хиву. Другая дорога, которую и выбрал Иван, считалась более опасной, но более красивой, нежели первая. Из Троицка, что рядом с Орском, дорога шла на Даште-Кипчак, к устью Сыр-Дарьи, потом резко сворачивала к западу и вела напрямиком к Бухаре.

По этому пути идти можно только ночью, потому что дорог не было и в помине.

Ориентироваться можно было только по звездам, здесь низким и необычайно крупным, как дикие вишни на реке Большой Кумак.

«И верно, словно вишни», — еще раз подумал Иван, отыскивая на небе последнюю по счету звезду в ручке ковша Большой Медведицы. Если от этой звезды провести прямую линию к Сириусу, а потом, как тетиву лука, разделить стрелой пополам — получится то самое направление, которое поведет путника к Семи Камням, а оттуда уже на Даште-Кипчак. Там Виткевич рассчитывал встретить киргизов, пожить у них до того дня, когда установятся дороги, а потом махнуть в Бухару, пристроившись к какому-нибудь каравану.

Но сейчас, разрезая на глаз линию от Большой Медведицы к Сириусу, Иван сделал первую ошибку. Он не учел, что те данные, которые он получил у купцов, относятся к июню месяцу, а не к ранней весне, когда расположение звезд на небе совершенно иное.

Быть бы наверняка большой беде, может быть, последней беде в жизни Ивана, если бы холодный ветер не сменился вдруг сухим теплом пустыни. На глазах корка снега, оставшаяся после недавней

мартовской наледи, начала ломаться, коробиться, из белой становится сначала бурой, а потом серо-коричневой. К утру, когда Иван стал на отдых и потом пересел на вторую, запасную лошадь, он увидел кое-где землю, вышедшую из-под снега. Иван спешился, опустился на колени и приник к земле лицом. Устойчивый, терпкий запах прошлогодней травы, ковыля, полыни вошел в грудь. Иван сразу же вспомнил Ставрина. Он погладил землю рукой. Земля была влажная, беззащитная, но прекрасная, ибо она снова была призвана к жизни.

На второй день побега, когда Иван чуть не падал с седла от усталости и желания спать, он случайно наткнулся на кочевье.

Не знал Иван, да и не мог знать, что, сбившись с курса в самом начале, он забрался в такое место, где никто и никогда не оставался в марте или апреле. Уже в декабре люди уходили отсюда, потому что травы, уцелевшие после летних суховеев по склонам курганов, кончались и скот оставался без корма. Ушло бы и это кочевье, не случись непредвиденного.

Подъезжая к войлочным юртам, Иван услышал голоса: мужчины пели что-то жалобное, протяжное. Иван спешился, постоял секунду, потом привязал своих коней к маленькому, забитому в землю колышку и пошел в ту юрту, из которой доносилось пение.

На кошмах лежал старик киргиз^[5]. Борода задравшись кверху, открывала морщинистую сухую-шею. Старик все время пытался разорвать ворот-пик рубахи, но юноша, сидевший подле него, каждый раз брал руки старика в свои руки, осторожно опускал их и прятал под кошмой. Старик стонал. Мужчины, сидевшие чуть поодаль, раскачивались из стороны в сторону и пели: старый вождь уходил на небо.

Негромко поздоровавшись и пожелав добра дому и всем здесь находившимся, Иван негромко спросил:

— Что с аксакалом?

Один из мужчин вскинул злые заплаканные глаза и, показав рукой на горло, ответил:

— Небо зовет вождя и поэтому не дает ему себя больше.

Иван развязал кушак, сбросил халат и подошел к старику. Снял с его груди толстый, верблюжьей шерсти, платок и приложил ухо к сердцу.

— Помогите мне, — попросил он юношу, по-видимому сына вождя. Снова нагнулся над стариком и начал осторожно раскрывать

его рот, пошедший кровавыми волдырями.

— А-а! — застонал старик.

На небе, прямо над дыхательным горлом, вырос огромный снежно-белый нарыв.

Иван вздрогнул и почувствовал, как по спине поползли мурашки.

«Что делать? — подумал он. — Старик умрет. Что делать? Это надо резать, я знаю точно. Так делал доктор Зенченко, когда у Изотова так же было. Да, да, он резал, я помню. Он говорил об этом Яновскому».

Решение пришло сразу. Иван достал маленький кинжал, попробовал о ноготь остроту его, нагнулся к старику и начал раскрывать ему рот. Сын вождя вскочил, как кошка, и, выхватив у Ивана кинжал, замахнулся.

— Не дам! Пусть уйдет сам!

Он решил, что Иван хочет убить отца. Кое-где в Азии это было принято: чтобы облегчить боль, человека, особенно старого, убивали.

— Да нет же, — сказал Иван, — ему станет легче. Ман табибам [\[6\]](#).

Услыхав последние слова, старик открыл глаза и махнул сыну рукой. Он хотел сказать что-то, но не смог, а захрипел еще сильнее.

— Видишь, он просит.

Юноша опустил на колени и закрыл лицо руками. Иван, сдерживая дрожь, нагнулся над стариком совсем низко.

Когда все было кончено, Иван выбежал из юрты. Его выворачивало. Задыхаясь, он видел перед собой кровь, глаза старика, испуганные и беспомощные. Он чувствовал пожатие его руки, сухой, старческой руки, которая только что стучалась в ворота вечности.

2

Дороги установились к середине мая. Весна пришла внезапно. В конце апреля прогромыхали дожди, пришедшие вместе с грозами из-за Арал-моря. Потом внезапно ударила сушь.

Растянувшись на несколько сот метров, кочевье, шумное и радостное от сознания того, что впереди много нового, неизведанного, тронулось к северо-западу сразу со всеми своими повозками, верблюдами, лошадьми.

Дорога шла по степям, совсем таким же, как под Орском. Вдруг, завертевшись по буеракам, дорога вырвалась на небольшую, как казалось снизу, горку. Но отсюда открывалась изумительная картина. Словно в дымке пожарищ, налезая друг на друга, замерли горы.

Вождь племени, до конца оправившийся после болезни, ехал на полшага впереди Виткевича. Остановив коня, он обернулся и сказал:

— Бошкирья.

Горы были синие. Начинаясь зеленеть дубы сбегали с вершин вниз ровными, словно сажеными линиями.

— А там, — вождь обернулся в седле, — там Бухара.

— Там? — спросил Иван, указывая тонкой, сплетенной из конского волоса нагайкой на равнинный юго-восток.

— Да. Тебе надо идти на левую руку, через те травы, от которых овцы растут не месяцами, а днями. И так все время вперед, к пескам, где нет ничего живого, где жар, где во рту делается сухо, как от горсти плохо сушеного табака.

Достав из кармана книжечку с маршрутами, Иван записывал то, что говорил ему вождь.

— Ты молод, — продолжал старик, — ты пришел из той страны, где люди похожи на беркутов в бешенстве. Я не люблю тех людей, ты — другой. Тебя привел ко мне голос аллаха, а голос этот может услышать только правоверный. Хочешь — останься со мной, и ты будешь тем, кто после моего ухода к отцу и отцам отца закурит мою трубку, — и вождь вынул изо рта маленькую носогрейку, которую он все время держал, зажав зубами. — Ты будешь счастлив нашим счастьем, о тебе пойдет молва по степям, потому что ты один можешь дать облегченье, если в тело вошла болезнь вместе с сырым осенним ветром. Ты умеешь складно рассказывать про богатырей, сильных сердцем. Останься!

Иван подъехал вплотную к вождю. Из красного солнце делалось белым. Ветер стих.

— Ты упрям, — тихо сказал вождь, — а это залог счастья. Вождь не должен просить, он может только приказывать. Он должен быть сильным. Ты хочешь попасть в Бухару? Ты будешь там.

Вождь остановил скакуна и закричал звонко, высоко:

— Умурали!

И пока Умурали, сын вождя, несся на зов отца во весь опор, старик обернулся к Виткевичу и сказал:

— Я дам тебе десять лошадей и много бурдюков с водой. Ты придешь туда, куда хочешь прийти. И когда ты станешь правым пальцем на левой руке Мухаммеда, отца правоверных, скажи ему хорошо о Сарчермаке, его верном слуге и страже.

С этими словами Сарчермак-вождь отъехал в сторону, давая Ивану понять, что прошлое кончилось, а настоящее еще не началось.

Глава четвертая

1

Жандармский полковник Маслов ехал в Орск. По личному поручению Бенкендорфа он, как начальник седьмого округа корпуса жандармов, должен был ознакомиться с азиатскими форпостами, но отнюдь не с точки зрения их стратегической значимости.

В Оренбургской губернии после декабря 1825 года прибавилось опасного элемента.

Нужно было знать, где, кто и как ведет себя. Недавно во Владимире было открыто крестьянское общество смутьянов, и поэтому было важно точно выяснить, каково положение здесь, в краю ссыльных бунтовщиков, не тянутся ли отсюда какие-либо нити.

«Люди раздумывают, что в жизни более важно — то или это. Да разве они могут понять смысл жизненного кругооборота? Люди — камни. Ими вода да ветер движут. Сами по себе они ничто, нуль, зеро», — думал Маслов. Среди жандармов он считался мыслителем. Другим он жаловался:

— Мне следовало быть литератором, Я чувствую все окрест. Но не ропщу. Несу крест свой во имя блага других.

Маслов вздрогнул, услышав хриплый крик возницы: приехали в Орск. Сквозь рваные облака проглянула хитрая мордочка месяца. На крыльце стоял Яновский в накинутой на плечи шинели. Было повесенному свежо. Поздоровались.

— Завтра же, пожалуй, начнем, как думаете, Александр Андреевич?

— Как будет угодно, господин полковник.

— Ну, ну, давайте попросту, — улыбнулся Маслов и, пригладив волосы, пошел в гостиную.

После отменно хорошего ужина Маслов долго ворочался в мягкой постели и, улыбаясь, вспоминал тонкую талию Анны Михайловны, очаровательной жены подполковника.

Проснулся он рано. Хрустнул пальцами. Натужно заныло правое колено, когда потянулся. «Быть перемене в погоде», — сразу же решил Маслов и, тихонько напевая под нос, начал одеваться.

Так как жандармский полковник все время думал об Анне, инспекционный осмотр крепости закончился весьма быстро. Маслова тянуло к молодой хозяйке. За завтраком она была обворожительна, так же как и за ужином. Вырез-то в платье! С замыслом! А шейка? А пониже! И на мужа совсем не смотрит! Нет, но вырез-то каков, а?

Встретившись несколько раз взглядом с Яновским, Маслов смутился, оттого что в это время он думал о том, какова Анна Михайловна в постели.

Перед тем как выйти к обеду, Маслов подфабрил усы и облился душистой водой. Он долго рассматривал себя в зеркале и делал лица. Особенно ему удавалась легкая грусть. Правая бровь чуть вверх, уголки губ книзу, прищур холодный, надменный.

Сохраняя такое выражение, Маслов вышел к столу. Место Анны Михайловны пустовало.

— А что с нашей обворожительной хозяйкой? — поинтересовался полковник, заправляя салфетку за воротничок.

— Аннушка захворала.

Маслов выбрал маринованный помидорчик, положил в тарелочку гусяного паштета и заметил:

— Какая жалость! А что с бедняжкой?

— Наверно, застудилась гуляя.

— Ах, так!...

У Маслова испортилось настроение, несмотря на чудесный суп из куриных потрохов. Довольно быстро покончив с отбивной, он ушел в отведенную ему комнату и стал готовиться к отъезду.

Уже на крыльце он вспомнил о том, что в крепости служил ссыльный поляк — не то Петковский, не то Витковский.

— Да, кстати, чуть не запамятовал. Где ваш ссыльный, как он?

— Вы о ком говорите?

— О Петковском или Витковском — я слаб на фамилии.

— Виткевич, по-видимому.

— Совершенно верно, но какая разница в конце концов?

Яновский внимательно посмотрел на Маслова. Тот был занят перчатками: голландская лайка легка на разрыв, вот-вот лопнет у большого пальца. Это сердило Маслова, он хмурился.

— Виткевич в лазарете, господин полковник.

— Что с ним? Мне хочется взглянуть на него.

— Я думаю, это нецелесообразно.

Маслов еще ту же натянул перчатку, и лайка лопнула как раз у большого пальца. Полковник рассердился окончательно.

— А я думаю — целесообразно. Проводите меня к нему.

— Как вам будет угодно.

До лазарета было метров пятьсот, не больше. Яновский и Маслов дошли туда в пять минут. Полковник взялся за ручку двери.

— И все же это нецелесообразно, господин полковник.

Маслов раздраженно заметил:

— Можно подумать, будто вы хотите скрыть от меня ссыльного. Право же, я не съем Витковского.

— Виткевича, — поправил Яновский.

— Да, да, Виткевича.

— Но есть его вдвойне опасно, — улыбнулся Яновский и посмотрел прямо в глаза полковнику. — У него холера.

Маслов побледнел сразу же. Отдернул руку от двери и спросил Яновского дрожащим голосом:

— Почему вы не сказали мне раньше?

— Там был денщик. Зачем разговоры? Начнутся излишние страхи...

— Бог мой, какой ужас! Дайте мне скорее вымыть руки!

Яновский брезгливо скривил губы:

— Я сделаю все необходимое. Пойдемте же...

2

Кони пали все до единого, бурдюки иссякли, мука развеялась по ветру, смешалась с песками, а Виткевич упрямо, зло шел вперед, прекрасно понимая, что остановиться хоть на минуту — значило бы остаться в песках навечно. И он шел день и ночь, а в мозгу все время вертелись слова Яновского: «Лучше смерть в бою, из-за нелепости, в объятиях любимой, гибель от руки злодея из-за угла, но только не тогда, когда ее ждешь, боишься и ненавидишь...»

Сейчас Виткевич желал только одного: упасть и умереть сразу. Для этого надо было идти не останавливаясь. Чтобы обессилеть до конца.

Когда одиночество и величавое безмолвие барханов становились до жути страшными, он кричал, но песок ловил его голос и прятал в свою молчаливую толщу, которая привыкла к таким крикам. Чтобы не слышать тишины, Иван начинал горланить польские песни — он помнил, как их пели студенты университета,

разгуливая по спавшей Вильне. Иван горланил песни, но не слышал своего голоса. Он понимал, что поет, он слышал песню внутри себя, но едва веселые слова про кружку пива срывались с растрескавшихся губ, они сразу же становились частью безмолвия.

Здесь властвовала пустыня.

Когда кончалась ночь и солнце гасило звезды, Виткевич прибавлял шагу. Делалось прохладнее, на песок ложилась роса. Иван опускался на колени и слизывал влагу с теплых песчинок. Во рту начинало скрипеть, и Виткевич долго отплевывался, страдая от жажды еще больше.

Один раз он оглянулся и с тех пор смотрел только вперед. Маленькие следы его, глубоко вдавленные в сухой песок, были так безнадежно одиноки здесь, что, посмотри Иван на них еще раз, лишился бы рассудка от страха и отчаяния.

Виткевич сбился со счета. Он не помнил, день ли он шел, неделю, месяц? Он боялся считать так же, как и оглядываться. В дороге дерзаний взгляд должен быть обращен только вперед.

Вначале зеленая полоска, слившаяся где-то на горизонте с серосиним сумеречным небом, показалась Ивану миражем. Сколько раз он видел холодную траву в жарких дневных грезах, с трудом переставляя ноги, увязавшие в песках.

Но чем дальше шел Виткевич, тем явственнее становилась зеленая полоса, тем четче выделялась она на фоне неба, ставшего сейчас фиолетовым, предгрозовым. Потом будто сказочная царь-птица поднялась с земли: небо стало красным. Оно калилось все ярче и ярче, пока не стало белым.

Нагретая солнцем трава пожелтела, сделалась твердой, горячей. Опустившись на землю, Иван смотрел на эти желтые стебельки как на чудо, как на жизнь.

Теперь Виткевич шел по твердой земле и шатался, оттого что привык в пустыне брести по зыбучему песку. С каждым шагом он все ближе и ближе подходил к крепостным стенам, обнесенным вокруг молчаливого города.

Плоские крыши домов, высокие башни минаретов, мертвый свет луны, отраженный в голубых изразцах крепостных ворот, — все это было сказочно и невероятно.

Иван закрыл глаза, осторожно потер их пальцами, а потом быстро открыл: города не было. В глазах стояла звенящая черная пустота, которая с каждой секундой все разрасталась, расходилась

солнечными радугами. Вдруг радуги исчезли. Город стоял молчаливый, настороженный.

Виткевич подошел к воротам. Три стражника смотрели на него, лениво опершись о пики.

— Это что за город? — спросил Виткевич. Один из стражников оглядел Ивана с ног до головы и ответил вопросом:

— Ты мусульманин?

— Да.

— Врешь, друг. Если ты мусульманин, так сначала пожелай здоровья мне и моим друзьям.

— Прости, — ответил Иван, — я устал...

— Устают только стены: они стоят веками. Ты мог лишь утомиться...

Иван говорил по-киргизски. Он неплохо выучился этому языку у Сарчермака.

Стражник подыскивал слова и, прежде чем произнести всю фразу, поджимал губы и смотрел на небо. Когда он забывал нужное слово — морщился и вертел головой.

— О, Кабир, — крикнул он, — пришел твой брат, выйди, поговори с ним по-киргизски, а то у меня заболел язык от слишком резких поворотов!

Из будки, обшитой ивовыми тонкими прутьями и от этого казавшейся большой баклагой из-под вина, вышел высокий парень в белых штанах и черной шерстяной накидке. Штаны были широкие, но застиранные и подштопанные на коленях. Парень вопросительно посмотрел на Ивана. Тот повторил свой вопрос.

— Это Бохара, — ответил парень по-киргизски.

Он сказал это просто, обычным голосом. А Иван услышал музыку. Она все росла и ширилась, она гремела в нем, потом стихала, чтобы загреть с новой силой. Радость ребенка, сделавшего первый шаг, — юноши, познавшего любовь, воина, победившего в схватке: все это является радостью свершения. Сейчас Иван испытал ее.

— А ты откуда? — спросил парень.

Иван махнул рукой на пески:

— От Сарчермака.

— Врешь, — усмехнулся тот стражник, который говорил с Иваном первым, — оттуда никто не приходит. Оттуда приносят.

— Я оттуда, — упрямо повторил Виткевич.

Стражники снова посмеялись. Потом парень внимательно оглядел Ивана и протянул ему лепешку, которая висела у него за кушаком, словно платок. У Виткевича задрожали руки. Парень сходил в будку и принес пиалу с водой. Иван положил в рот кусок лепешки, но не смог разжевать ее, потому что шатались зубы.

— Ешь, — лениво сказал стражник, — она замешана на молоке.

— Вкусная лепешка, — подтвердил парень.

Иван языком растер лепешку и запил ее водой. Потом отошел в сторону и лег под теплой крепостной стеной.

— Так это Бухара? — спросил он еще раз.

— Бохара. Ты говоришь неверно. Не Бухара, а Бохара.

Иван почувствовал счастье. Оно жило в нем и рвалось наружу. Раньше он, наверное, стал бы смеяться или плакать. Сейчас, пройдя путь мужества, Виткевич только чуть прищурил глаза, усмехнулся и уснул. Упал в теплую, блаженную ночь.

3

Виткевич шел по шумному бухарскому базару. Без денег и без лошадей. Но главная трудность заключалась еще и в том, что Иван знал таджикский и киргизский, а здесь бытовал узбекский язык.

Несмотря на усталость, на головокружение, Виткевич словно зачарованный смотрел на людей. Кого здесь только не было! Толстые, ленивые персы-купцы, смуглые черноусые индусы, лихие наездники-таджики, веселые узбеки — все они смеялись, кричали, торговали, покупали, шутили, пели песни. Иван жадно вслушивался в их речь, но понимал совсем немного из того, что слышал. Глядя на этих веселых, голодных, оборванных, чудесных людей, Виткевич вдруг подумал; «А туда ли я иду? Может быть, мое место с ними? Может быть, здесь счастье? Ведь быть другом Сарчермака — счастье. А стать другом всех этих людей — счастье еще большее...»

Виткевич думал о своем и не замечал, как чьи-то глаза неотступно следовали за ним. Миновав базар, он свернул в узенькую улочку, прислонился к дувалу. В глазах пошли зеленые круги. Сел, вытянул ноги, застонал от боли. Когда он поднял голову, прямо над ним стоял человек: смуглый, черноглазый, нос горбинкой, желваки грецкими орехами под кожей перекатываются.

— Салам алейкум, — поприветствовал он Ивана.

— Ваалайкум ассалам, — ответил Виткевич.

— Вы откуда? — спросил человек. — Из Хивы, Ургенча?

Виткевич ничего не ответил, наморщил лоб. Решил выиграть время.

— Вы не понимаете по-узбекски? — продолжал допытываться человек.

— Нет, я говорю по-киргизски.

— Говорите. А понимаете какой?

Виткевич снова промолчал. Тогда, понизив голос, человек спросил по-французски:

— Откуда вы, мой дорогой блондин?

— Что вам надо от меня? — нахмурился Виткевич и поднялся на ноги.

— Вы сделали три ошибки в одной персидской фразе. У вас хорошее произношение, но вы слабоваты в грамматике, коллега. Лучше говорите на родном языке. — Человек оглянулся. — Не хотите? Ладно. Тогда послушайте, что скажу я. Сейчас мы уедем отсюда. Естественно, вместе. И лучше, — человек подыскивал нужное слово, — лучше никому не жалуйтесь на мой произвол. — Засмеялся. — Я отвезу вас из дикости в цивилизацию. Договорились? Ну и хорошо. Давайте руку, я помогу вам.

Капитан Александр Бернс считал, что ему чертовски повезло. Как талантливый разведчик, он не мог не предполагать, что агенты России подвизаются в ханствах Срединной Азии. Правда, чиновники из Ост-Индской компании уверяли его, что русские никак себя в Азии не проявляют, замкнувшись в маленьких форпостах вдоль по Уралу. Крепости эти не представляли сколько-нибудь значительной стратегической ценности даже с точки зрения обороны, не говоря уже о нападении.

С этими постулатами Бернс соглашался, учтиво покачивая головой, а про себя думал о том, каких тупоголовых баранов присылают в Индию.

«Вместо того чтобы держать здесь резидентуру, достойную Востока, засылают кретинов, скомпрометировавших себя чем-то на острове. Какая нелепость!» — думал Бернс.

Воспитанный в наступательных традициях английской внешней политики, Бернс не мог, не имел права ни на минуту допускать мысли о том, что контрагент да причем такой сильный контрагент, как Россия, беспечно наблюдает за тем, что происходит на Востоке. Недвусмысленные акции Британии в Азии мог не увидеть только слепой.

Цель этой политики — вовлечение всего Востока в орбиту Альбиона — казалась Бернсу естественной и необходимой.

Когда он в первый раз заговорил с высшими чиновниками компании о целесообразности поездки в срединные азиатские ханства, его подняли на смех. Но какой это был смех! Истинно британский: учтивый, исполненный самого искреннего расположения, мягкий и обходительный. Словом, это был такой смех, за которым обычно следовал отзыв обратно в Шотландию в связи с «обострением болезни сердца». Дерзких, мыслящих людей здесь, как и повсюду, не особенно-то жаловали.

Здесь, как и повсюду, предпочитали иметь послушных исполнителей, оставляя право делать политику за избранными. Один из руководителей компании пустил даже каламбур по поводу предложения Бернса: «Когда лейтенанты входят в политику — жди термидора».

Конечно, предложение Бернса было записано и положено в один из сейфов компании, с тем чтобы когда-нибудь вытащить его на свет божий. Когда-нибудь. Чуть позже того, как Бернс будет отправлен к себе в Шотландию, к милым своим братьям, волынщикам.

Однако ни люди из компании, ни уважаемые господа из губернаторства не смогли толком оценить красавца лейтенанта.

Сразу же поняв создавшуюся ситуацию, Бернс отправил в Лондон маленькое письмо за тремя сургучными печатями, столь искусно поставленными, что не было никакой возможности познакомиться с содержанием письма, даже если бы кто и рискнул это сделать, невзирая на адрес, выведенный в правом верхнем углу конверта.

Лорд отдал должное беззаботно-веселому тону письма, чуть грубоватому, «лесному» юмору шотландца, жаловавшегося на головные боли в связи со спорами с некоторыми высокими господами из генерал-губернаторства.

Через день корабль, вышедший из устья Темзы, взял курс на Индию. Капитан корабля вез небольшое письмецо Бернсу и еще меньшее — в губернаторство.

Сразу же после того, как письма эти были вручены адресатам, Бернс получил аудиенцию у одного уважаемого господина, который сначала заботливо осведомился о самочувствии лейтенанта после недавно перенесенной им болезни, а потом спросил, не желает ли

сэр Бернс совершить путешествие в места с более резко выраженным континентальным климатом.

Александр Бернс выразил свое согласие на столь нужную его здоровью прогулку.

— Мы сделаем так, что никто из служащих компании не будет знать о вашем путешествии, — сказали ему в заключение, — это ведь будет первый опыт такого рода лечения.

— Первый, — согласился Бернс и спрятал улыбку.

Через несколько месяцев он встретил в Бухаре русского резидента. Это ли не подтверждение правильности его положений? Бернс отдал должное выдержке русского агента, его замкнутости и стоицизму. «Он прошел неплохую школу, хотя и молод», — заключил Бернс.

Может быть, лейтенант и не гнал бы свою состоявшую всего из пяти человек кавалькаду дальше к Герату, Кабулу, Индии, если бы он мог хоть краешком глаза посмотреть на происходившее в Санкт-Петербурге. А происходившие там события заслуживали того, чтобы их видеть.

4

Сегодня у Виельгорских хоры. Канцлер, граф Карл Васильевич Нессельроде большой любитель попеть. В черном, без регалий, сюртуке, само воплощение скромности, Карл Васильевич стал во второй ряд хора и, откашлявшись, ждал начала.

Виельгорский качал головой. Потом, устав качать головой, решившись, он тронул клавиши пухлыми пальцами.

— О-о-аа-оо, — тихонько выводил Карл Васильевич хор из «Гугенотов». Глаза его полузакрты, лицо светлое, спокойное.

Когда ария закончилась, Карл Васильевич первым захлопал в ладоши и закричал:

— Bravo, bravo, господа! Это настоящее «Боже, царя храни».

При этих словах канцлера молодой человек, стоявший рядом с хозяином, удивленно вскинул брови и растерянно посмотрел на Виельгорского. Тот нахмурился и покачал головой, что, по видимому, должно было означать: «Молчи и не удивляйся, если задумал с ним поговорить».

Молодой человек — историк, филолог, нумизмат Борис Дорн понял знак Виельгорского и, полуобернувшись к канцлеру,

почтительно склонил голову. Похлопал в ладоши, стараясь сделать это так, чтобы Нессельроде увидал.

Позже, когда гости разбрелись по залам, Виельгорский подвел Дорна к Карлу Васильевичу и представил молодого человека как талантливого востоковеда.

Нессельроде поморщился; два дня перед тем он имел пятую за эту неделю беседу с британским послом как раз о делах азиатских, восточных.

— Граф Карл Васильевич, — выпалил Дорн, — не соблаговолите ли вы посмотреть мои соображения о наших делах азиатских, кои развиваются не весьма блестяще, — и с этими словами он протянул дрожащей рукой листки, свернутые в тонкую трубочку и перевязанные синей лентой.

На секунду глаза Нессельроде широко раскрылись. Потом он опустил веки, и лоб его прорезала морщина.

— Я прихожу сюда, к друзьям моим, петь, а не решать дела азиатские, кстати сказать, блестяще развивающиеся, — и, повернувшись к Дорну спиной, Нессельроде пошел в другую залу.

Дорн не мог знать, что Нессельроде в своих беседах с британским послом не проявлял должной твердости в защите позиций России на Востоке. Именно поэтому Дорн испортил себе карьеру на многие годы вперед.

Но ничто это не было известно Бернсу, а если бы даже и стало известно, все равно он не поверил бы в такую нелепость. Бернс был, при всей своей талантливости, начинающим политиком. Начинающий в любой области не верит в нелепость. В этом одновременно и преимущество и недостаток начинающего.

Поверил в нелепость Александр Бернс только через три дня, когда утром, очнувшись после тяжелого, тревожного сна, не увидел рядом с собою пленника, русского агента. Трое его провожатых спали таким же тяжелым сном, а около тлеющих углей костра валялись пережженные веревки, которые вчера вечером надежно связывали руки Виткевича.

Глава пятая

1

Виткевич вернулся в Орск и свалился в горячей, сжигавшей его лихорадке. Доктор Зенченко и Садек просиживали около его постели долгие ночи, прислушиваясь к дыханию Ивана. Дыхание было прерывистое, жаркое. Часто он бредил, кричал.

Повторял ссохшимися губами: «Анна, Аннушка». Зенченко, услышав это имя, отошел к окну. Закат, разлившись по земле алой кровью, догорел и потух.

Приходил Яновский. Он тоже услышал, как Иван повторял имя его жены. Яновский хмурил брови и менял на лбу Ивана холодные компрессы.

Однажды утром, когда Зенченко решил, что все уже кончено, Иван открыл глаза, осмотрелся и сказал:

— Слава богу. Дома.

После он уснул. Кризис миновал.

Однажды выздоравливавшего Ивана зашла навестить Анна. Она тосковала в крепости, и Яновский предложил ей вернуться в Петербург. Анна не сумела скрыть радости.

Яновский улыбнулся и погладил ее по голове, как ребенка.

— Я возьму отставку и приеду к тебе позже, — сказал он.

— Только поскорей, а то я буду скучать, — пролепетала Анна.

— Хорошо, дорогая, — пообещал Яновский. — А сейчас пойди попрощайся с Иваном.

Виткевич лежал, откинувшись на высокие подушки. Он смотрел в открытое окно. Дул горячий ветер. Если выставить в окно руку и держать до тех пор, пока не начнет дрожать ослабший за время болезни мускул у плеча, в ладони окажется несколько теплых, крошечных песчинок.

Иван любил разглядывать песчинки. Словно крохотные миры, они, казалось, вмещали в себе чудесные таинства природы. Там, внутри, тоже дули ветры с жарких, крошечных степей, плескались крошечные полноводные реки, и, быть может, такой же, только совсем крохотный Садек приходил к такому же больному Ивану и сидел около его кровати, ничего не спрашивая и ничему не удивляясь.

Анна заглянула в дверь и, улыбнувшись, постучала пальцем в стену. Иван оторвал глаза от песчинок, глянул на дверь и увидел Анну. Смутился, покраснел.

Садек недоумевал: «Мужчина стал красным, испугавшись женщины. Это ли не смешно?» Но Садек не показал виду, что он удивлен. Он встал, небрежно, свысока кивнул женщине и выпрыгнул в окно.

— Я так рад, — не решаясь поднять глаз, сказал Иван. — Прошу вас...

— Чего же вы просите? — спросила, улыбаясь, Анна и села на стул рядом с кроватью. — Чего же вы просите, милый киргиз?

Сердце в груди гулко ухало; то стремительно падало вниз, то тяжело, рывками, поднималось вверх.

Иван исподлобья посмотрел на женщину и, точно ожегшись о ее взгляд, опустил голову еще ниже и начал внимательно разглядывать свои руки, похудевшие во время болезни.

— Я пришла попрощаться с вами, — продолжала говорить Анна. — Я уезжаю.

Иван не поднимал головы. Анна нагнулась к нему и прошептала:

— Такой отважный странник, и столь застенчив в обществе дамы, его навещающей.

Кровь ударила Ивану в голову. В глазах Анны зажглись огни, яркие, обжигающе близкие. Он неловко обнял женщину и прижал к своим губам ее голову.

...Когда Анна ушла, Иван отвернулся к стене и заплакал. Он никогда не думал, что все это может быть так просто и обыденно. Он ждал, что в дневном небе зажгутся звезды, он ждал, что земля запоет песнь свою, великую и радостную. Но ничего этого не случилось. Со степей дул по-прежнему жаркий ветер.

Начинало темнеть.

Когда Иван встал на ноги, Анны в крепости уже не было. Он пошел к Яновскому.

Подполковника дома не оказалось. Денщик сказал Ивану, что Яновский гуляет в степи. Иван нашел его сидящим под молоденькой березкой, листья которой стали желтыми от суховея.

Яновский смотрел в небо. Там, курлыкая извечную песню, летели журавли.

Иван подошел к нему и сказал:

— Здравствуйте, Александр Андреевич.

Тот поднял голову и ответил:

— Здравствуй, Иван.

— Александр Андреевич, я должен сказать вам, что...

Яновский поднял руку ко лбу, потер переносье и, перебив его, попросил:

— Не надо, Иван. Смотри, журавли-то как, а?

— Я должен сказать вам... — настаивал Виткевич.

Яновский странно посмотрел на него. Глаза у него сейчас не такие, как всегда. Мягкие. Грустные. И не рысьи даже совсем.

— Не надо ничего говорить мне. Ты иди, Иван. А я тут посижу один. На журавлей смотреть люблю до смерти. Им что, журавлям! Им вольно...

2

Только после отъезда Анны Виткевич заметил, как сильно изменился за эти годы Яновский. Поджарая фигура его сделалась сухой, старческой. Волосы на висках поседели, между бровями залегла глубокая, словно вырубленная морщина.

Каждое утро он по-прежнему вставал с зарей и уходил в степи. Когда трубили подъем — возвращался. Он слушал отчеты, давал команды, гневался, смеялся, но все это делал отрешенно, издалека.

Как-то раз вечером Яновский вызвал Ивана. Виткевич пришел к подполковнику и поразился: около окна сидел сгорбленный человек и неотрывно, тяжело смотрел в одну точку — в выщерблину на полу.

— Здравствуйте, Александр Андреевич.

Яновский зажмурился, несколько раз сильно провел рукой по лбу, словно желая разгладить морщины, встал, пошел навстречу. Обнял Ивана, поцеловал в щеку и усадил рядом с собой.

— Ты уж извини, друг мой бесценный, — сказал подполковник, — что я тебя столь поздно к себе вытащил.

Он покачал головой, вздохнул.

— Страшно мне одному. Запить боюсь, Иван. А это трусость. Конец, словом. Так что прости меня, старика.

Виткевич положил свою горячую руку на ледяные, длинные пальцы Яновского. Тот благодарно посмотрел на Ивана.

— Давеча пришел ко мне Фырин. Сели обедать — он на меня смотрит, словно собака голодная, губы облизывает и кадыком в

горле ерзает, как пальцем в тесном сапоге. Понял я его голод, принес штоф, Выпили. Еще принес — и тот выпили. И стал он мне тогда говорить разное, — Яновский поморщился, пояснил, — ну, словом, успокаивать меня начал.

Иван почувствовал, как во рту у него пересохло и стало горько, как будто съел стебель полыни. Он сердито засопел, не в силах побороть в себе острое, гнетущее чувство жалости к подполковнику. Яновский отвернулся и сказал коротко:

— Не надо, друг мой бесценный, не надо, пожалуйста. Не ты виноват и не мучь себя зазря.

Прошел по комнате и остановился у окна.

— Понимаешь, вчера Фырин был близок мне своей жалостью и жестоким примитивизмом суждений. Но мне было хорошо с ним, я растворился в его слабости, покорности жизни. Мы расстались друзьями. Сегодня он снова придет, так я, чтобы завтра весь день перед самым собою не краснеть, тебя позвал: Ты стойкости и правде учен не то что я — наставлениями родительскими, а каторгой солдатской.

Они говорили, не зажигая лампы, до прихода Фырина.

От ротного несло таким терпким винным запахом, что Иван подумал: «Ежели неловко огниво к его лицу поднести — вспыхнет вся комната синим пламенем спиртовым».

Виткевич не умел пить. Однажды он пристал к Тимофею Ставрину:

— Угости хлебным, попробоваться как хочется.

Тот начал было отговариваться, да потом, спрятав в глазах лукавство, принес десяток крутых яиц, дюжину огурцов, пару штофов и так напоил Ивана, что тот потом целый день на сеновале лежал, питаясь одним лишь огуречным рассолом.

Поэтому сейчас, когда Яновский разлил в высокие синие стаканы хлебное вино, Виткевича всего передернуло. Выпив, он закашлялся и пришел в себя только после того, как Яновский довольно долго стучал ему по спине между лопатками.

— Не туда, — пояснил Фырин, — пошло не туда. К сердцу пошло, а надобно, чтоб к животу... Я полагаю так: два великих блага отпущены человеку. Сие есть вино и баба. Счастья эти лёгкие, за них сражаться, как за орден али медаль, не приходится.

Фырин быстро налил себе еще, так же быстро выпил и, не закусывая, продолжал:

— И то и другое — я о вине и бабах — дано нам жизнью и жизнью же, в случае надобности, отбирается без всяких промедлений. Вино — хлеб, земли производное. Баба — опять-таки откуда-то оттуда. А я господин и того и другого. Знаете, как похотлацки слово «баба» говорится? Жинка. А мужчина? Чоловик. Человек, значит. Вон сейчас выйду, денщика, каналью, кликну — он вина мне нальет. Да девку, коль прикажу, затащит. Я человек земной, земным пользуюсь и в химеры умственные ни в какие не верю.

Чем больше пил Фырин, тем белее становилось его лицо и; краснее — шея. Пил он беспрерывно, обливая вином сюртук и панталоны. Яновский курил и не смотрел на ротного. Иван теребил край скатерти и шаркал ногами, как от зуда.

— Любовь, говорите? Ер-рунда. Нет любви. Если мужчина любит, так он делает величайшую глупость. Как умный с дураком никогда не сговорится, так и баба — по натуре своей животное — не в состоянии понять мужское чувство. Значит, зачем же нужны чувства эти самые? Не нужны, — сам себе ответил Фырин. — Любовь — сие не что иное, как неудовлетворенное скотское влечение, вот что это такое.

Ивана взорвало. Он вскочил со стула, забегал по комнате.

— Да как говорите вы такое?! Это позор, гадость!

— Позор? — удивленно и в то же время зло переспросил Фырин. — Молчи, младенец. Скажи мне проще: ты бабу имел?

— Вы не просто подлец, — медленно, с расстановкой проговорил Иван, чувствуя, как у него задергалось левое веко, — вы мерзавец и гадкое животное!

Он подскочил к Фырину, рванул его одной рукой к себе, а когда тот поднялся, два раза ударил по лицу наотмашь. Фырин закатил глаза и упал. Яновский, бледный как бумага, склонился над ним, расстегнул ворот: ротный лежал без сознания, закусив губу.

— Он без чувств, — почему-то шепотом сказал Яновский, — зачем вы так? Он же пьян до последней крайности.

Иван, все еще сопя, хрипло ответил:

— Не будь он сейчас таким... Мерзавец, гниль!... Да что он понимает в любви, в женщине? Минуты восторга, мучительной, божественной любви переживал ли он? Когда мысли, воля, биение сердца подчинены одному лишь чувству, как небо, радостному! Любимая рядом — руки дела ищут, трудной работы ждут, мысли, при всей невообразимой горячности их, чисты, отчетливы. И

творишь не просто так, не как обычно, но во имя любви к женщине. Любовь — это Данте, Микеланджело, Пушкин, Мицкевич! Любовь — это такая радость, сравниться с которой ничто не может. А нет любви — все тухнет, все исчезает словно дым.

Яновский скривил лицо и попросил:

— Иван, друг мой, негоже в доме больного говорить о смерти.

— Да, — ответил Иван и посмотрел в глаза Яновскому, — но мне все-таки должно сказать вам, что Анну я люблю больше жизни. И всю жизнь мою любить ее буду. Вы хороший и умный, Александр Андреевич, вы все понять обязаны. Ведь и вы восторг юности и любви первой пережили... Если можете — простите меня: я в любви своей чист и перед богом и перед вами.

Продолговатое, с выпирающими скулами лицо Яновского вдруг сразу все сморщилось, глаза стали жалобными, большими, и он заплакал. Иван выбежал из дома. Высоко в небе стыла луна, холодная, как утренняя роса на лугах.

Через месяц Яновский вышел в отставку и уехал из Орска.

3

Путешествие Александра Гумбольдта по России подходило к концу. Объехав добрую половину страны, сейчас он держал путь к Орску. У Гумбольдта разболелась голова, и он, мягко потирая виски своими красивыми пальцами, старался отвлечь боль. В Тобольске ему дали новую карету. Она вся громыхала, потому что была плохо смазана. Азиатская пыль разъедала не только смазку. Она заползала в уши, щекотала ноздри, от нее краснели глаза и веки.

Сказывались годы: привыкший к путешествиям Гумбольдт начинал уставать.

— Скоро ли Орск? — спросил он адъютанта.

— Еще часа три, ваше превосходительство.

Гумбольдту стало душно, он открыл окошко и, задернув его занавеской, прислонился к стене кареты. «Боже, какая огромная страна, — подумал он. — Страна просторов, страна загадок». Гумбольдт улыбнулся, вспомнив, как недавно он попросил казака в одной из крепостей достать со дна траву. Тот нырнул и достал.

— Холодно внизу? — спросил Гумбольдт.

Казак попался хитрый. «Нет, — подумал, — меня не проведешь». Стал казак во фронт и ответил:

— Так служба требует, неважно как, холодно али нет. А вообще-то мы завсегда рады стараться!

Гумбольдт улыбнулся еще раз. Прислушался. В сухом воздухе дрожала тихая, переливно-гортанная песня.

— Что это? — удивился Гумбольдт, сразу позабыв боль в висках. — Опера в степях?

Адъютант не понял шутки. Почтительно звякнул шпорами:

— Это не опера. Азият горланит.

Гумбольдт поморщился. Подумал: «Сам ты азият, дубина».

Через несколько минут к запыленному экипажу подъехал маленький киргиз и стал внимательно, с усмешкой разглядывать Гумбольдта, высунувшегося из окна. Барон обратился к нему по-персидски:

— Зебан-е-фарси медонид?^[7]

Киргиз отрицательно покачал головой и легонько стегнул плеткой беспокойного коня. Барон спросил его по-арабски. Тогда киргиз засмеялся:

— Мало руси-руси...

— Поговорите с ним на родном языке, — попросил Гумбольдт адъютанта.

— Что вы, ваше превосходительство, — раздраженно ответил тот, — их варварский выговор...

«Боже, какой осел», — еще раз подумал Гумбольдт и откинулся на подушки.

В Орске ему отвели две крохотные комнатки в свежебеленой хатке; у батальонного командира и у коменданта в семьях свирепствовала простудная хворь.

Гумбольдт прилег на кровать. Против обыкновения он не потребовал сменить белье. Усталость взяла свое. Гумбольдт уснул.

Вечером, осматривая свое прибежище, он, к удивлению необычайному, обнаружил на самодельных полочках томик Вольтера, Пушкина, две свои книги и — самое интересное — прекрасно составленные словари киргизского, татарского, персидского, афганского и узбекского языков.

На вопрос, кто автор этих интереснейших словарей, батальонный адъютант Попов не смог ответить ничего вразумительного. Не мог же он сказать иностранцу, что автор этих безделиц ссыльный в солдаты Виткевич. О ссыльных в России говорить не любили, так же как в семье о неудачных детях.

Под вечер на сенокос прискакал тот самый Попов, который принимал Гумбольдта. Он что-то быстро прошептал командиру и ускакал обратно. Следом за ним уехал и батальонный командир Бабин, приказав через своего денщика Виткевичу остаться на поле для охраны скошенных трав.

Иван удивился: раньше никто не оставался, потому что охранять сено было не от кого.

Стемнело быстро. В небе, затянутом низкими тучами, ворчал гром. Где-то на востоке, совсем над землей полыхали зарницы. Иван сидел на копне свежескошенной травы и, зажав между ладонями стебелек, высвистывал песенку. Сбившись, он запрокинул руки за голову и повалился на траву. Выпадала роса. Луг, темный в ночи, становился серо-голубым. А небо от этого казалось еще более темным.

Около полуночи приехал Ставрин и, остановившись подле стога, позвал сонным голосом:

— Иван Викторов, а Иван Викторов!...

— Э!... — откликнулся Иван.

— Ты гдей-то?

— Здесь.

— Здесь, здесь... Нешто я филин, чтобы в ночи наблюдение иметь?

Иван засмеялся.

— А ты найди.

— Ишь, озорник! Давай жылазь. Пойдем-ка спать ко мне.

— Это почему ж к тебе? Я к себе пойду.

— Не положено тебе сегодня к себе идти.

— Почему?

— А у тебя какой-то французский генерал остановился. Сказывают, Наполеонов брат али дядя. Худой, белесый, а глаза как все равно у волка голодного. Да вылазь, говорю!

Виткевич пошел к бричке. Лошадь тяжело вздыхала и переступала с ноги на ногу.

По-прежнему ворочался гром. Чтобы не удариться, Иван выставил перед собою руки. Уперся в грудь Ставрины. Сел рядом, и Тимофей почувствовал, как дрожало мелкой дрожью плечо Ивана.

— Ты четой-то, Иванечка? — спросил он.

— Зябко.

— А я тебя дома погрею. Наталья хлебы испекла. Да и полуштофик у меня припасенный.

- Ты меня домой сначала завези.
- О, козьи рога, душа упрямая! Да не велено ж!
- Я только в окошко загляну. Интересно...
- Ох, от греха бы, Иванечка, от греха...

Не доезжая до того дома, где теперь жил Иван, Ставрин остановил лошадей.

Виткевич соскочил с телеги и пошел прямо на светящиеся окна. Заглянул внутрь и сразу же отпрянул. Зажмурился. Не от яркого света, а от того, что представилось его взору. Он заглянул в окно еще раз: сомнений быть не могло. У Яновского был маленький портрет этого человека. За столом, устало опершись на руку, сидел Александр фон Гумбольдт. Человек, которого весь мир звал «придворным революционером». Человек, совместивший в себе блестящие дарования историка, естествоиспытателя, географа, лингвиста и этнографа.

Справа от него сидел батальонный командир Бабин. Он молчал. Он не знал, по-видимому, о чем следовало говорить со знаменитостью. Боевой офицер, рубака, храбрец, Бабин был человеком скромным, и поэтому многим, не знавшим истории его жизни, он казался скучным.

«Ах, сюда бы умницу Яновского, — с горечью подумал Иван. — Где-то он сейчас?» С тех пор как подполковник уехал в Россию, Иван ничего не знал о нем.

— Тимофей, скорей уезжай, — громко прошептал Виткевич, отбежав от окна.

Ставрин вздохнул, чмокнул губами, и повозка тронулась. Виткевич вернулся к окну.

Бабина в комнате уже не было. Хлопнула дверь: батальонный ушел к себе. Гумбольдт остался один. Он по-прежнему сидел у стола и неотрывно смотрел на колеблющееся пламя свечи. Иван подождал, пока Бабин отойдет подальше. Обошел дом, постучался в дверь. Вошел. Остановился на пороге. Скрипнула половица, Гумбольдт поднял голову. Испугался.

- Кто вы?
- Хозяин этого дома.
- И этих словарей? — Гумбольдт кивнул на полки.
- Да.
- Но мне же сказали, что вас нет в Орске.

— Вам не могли сказать иначе, потому что я считаюсь государственным преступником.

Глаза Гумбольдта оживились, он встал, шагнул навстречу Ивану и протянул ему обе руки.

— Ваше имя?

— Иван Виткевич.

Уже перед утром, обходя крепость, дозорные заметили свет в окнах домика, где остановился заезжий чужестранец. Солдаты заглянули в окна, любопытствуя, чем можно заниматься в столь поздний час.

Увидев в комнате чужестранца и Виткевича, солдаты пошутили:

— Как два ученых схлестнутся, так по ним дня и ночи нет.

Кто-то из солдат сказал:

— А глянь, Ванька-то наш, поляк, с ним как словно с равным разговор ведет. Молодца парень!

Около вала солдатам повстречался батальонный адъютант Попов, назначенный сегодня дежурным по крепости.

— Что, орлы? Ходите? — глубокомысленно спросил он.

— Ходим, — ответили солдаты, довольные представившейся возможностью поговорить с начальством.

— Спать, верно, хочется?

— Так-то оно так. А вон иноземец не спит.

Попов насторожился:

— Что это?

Молоденький солдатик радостно выпалил:

— С нашим разговаривает, с Виткевичевым.

Пожилой солдат пребольно наступил молодому на ногу. Парень охнул, посмотрел на старого солдата, на Попова, который стал похож на ищейку, и понял, что сделал он плохое дело.

Попов подбежал к домику Виткевича. Крадучись, подошел к окну и замер прислушиваясь.

— Я не понимаю лишь одного, — говорил Гумбольдт. — Государство подобно дереву. Так зачем же обрывать лучшие цветы со своих ветвей? Для того, чтобы удобрить почву для будущих? Слишком долго придется ждать плодов.

— У меня есть только один путь, — ответил Виткевич после долгого молчания. — Бежать.

— Куда? Всюду люди. И потом человек должен иметь родину.

— Она есть у меня.

— Где?

— Здесь.

— Тогда зачем бежать?

— Для того, чтобы помочь страданиям наших людей или в крайнем случае не видеть этих страданий. Ведь наши люди отличаются светлым умом, добрым сердцем и величайшей долготерпеливостью.

— Это великолепная сумма. Это сумма величия нации.

— Да. И трагедии ее.

Попов услышал шаги и отпрянул от окна. Когда он опять приблизился, говорил Гумбольдт.

— Жить среди азиатов? Вы не сможете. Я тоже люблю Азию. Только ненадолго. После путешествий я возвращаюсь домой. Я согласен с англичанами: мой дом — моя крепость. Лишь за крепкими стенами можно мыслить. Здесь в степях я смотрю и запоминаю, но не делаю выводов. Для того чтобы делать вывод, надо уметь закрывать глаза. Вот так, — и Гумбольдт опустил веки, прикрыв ими, словно материей, выпуклые глазные яблоки.

— Сейчас вы, — продолжал он, — в экстазе. Вам радостна стихия просторов. Это от молодости. Но для того чтобы стихия стала по-настоящему широкой и всеобъемлющей — я говорю о стихии чувств, вы понимаете меня, — для этого она должна пройти процесс, подобный закалке клинка. Из огня — в воду. Из холода — в жару. Необходимо испытание веры. Вы талантливы, вы переживаете несправедливые горечи судьбы, и вы несете в сердце веру. Сама по себе вера прекрасна, пусть даже это будет вера в черта.

— Не хотите ли вы сказать, что всякая вера в конце концов обман? Самообман. Красивый, мужественный, но самообман?

— Нет. Я никогда не скажу так. Человек, переставший верить, становится бесплодным. Но мне кажется, Виткевич, что вы сами создали образы тех людей, к которым собираетесь бежать.

Иван молчал. Его подмывало сказать, что он не создавал своим воображением людей, к которым собирался уходить, что он уже однажды жил среди них. Но сдержал себя.

— Вы верите в тех, к кому уходите? Вы верите в азиатов? — настойчиво и, как показалось Ивану, строго допытывался Гумбольдт.

— Да. Верю.

— Тогда вы счастливы. Тогда вы, конечно, вправе делать то, что задумали. Есть такой поэт Генрих Гайне. Я не отношу себя к особым поклонникам его таланта, хотя обожаю как человека. Он

мне сказал как-то изумительные слова. Эти слова должны быть занесены на скрижали. Послушайте их.

Гумбольдт встал, поднялся на цыпочки, взмахнул руками и смешно, с завыванием продекламировал:

— Стучи в барабан и не бойся!

Откашлялся, спрятал глаза под бровями, отвернулся, подошел к окну и распахнул створки.

Попов врос в стену, дыхание у него перехватило, на лбу выступил пот.

Гумбольдт потянулся до хруста в суставах и вдруг весело рассмеялся:

— Какую прелестную ночь мы с вами провели, Вяткевич! Я себя чувствую иным. Вы в меня просто вдохнули своей юности. Знаете, иногда надоедает быть фейерверком и эрудитом. И тогда — вроде сегодняшнего — пессимизм из-за угла.

— С подоконника, — пошутил Иван.

Гумбольдт рассмеялся. Первый отблеск утренней зари лег красным пятном на его скуластую острую щеку.

— Великолепно, — сказал Гумбольдт, — смотрите, какое это чудо — утро. Вообще вся природа — это чудо. И люди тоже чудо. Я радуюсь им всем, как утру. Я счастлив утром. А кто приемлет слова Гайне целиком и безусловно, тот счастлив в высшей мере. Я принимаю эти его слова, как природу: целиком. Их надо всегда помнить, потому что жизнь наша до крайности неэкономна.

— Я не понимаю вас.

— Извольте. Поясню. Человеческая жизнь исчисляется примерно шестьюдесятью годами. Из этих шестидесяти двадцать лет человек тратит на то, чтобы научиться различать лица, места, цвета. Я говорю нарочито упрощенно, Виткевич, поймите меня верно. Еще десять лет человек отдает исканиям самого себя, своего места в жизни. Значит, только к тридцати годам человек становится носителем той или иной осознанной идеи. Так? Значит, примерно половина жизни уходит у человека на поиски. Верно?

— Да, это верно, — согласился Иван, с напряженным вниманием слушавший Гумбольдта.

— Ну, а если это верно, то именно поэтому столь сильна трагедия отцов и детей. То, что отец считал единственно правильным, то, к чему он шёл в течение половины своей жизни, его двадцатилетний сын считает истинным абсурдом. Правомочно ли это? Бесспорно; потому что мы живем в мире несправедливом,

иррациональном. Когда наши потомки найдут тот абсолют, ту великолепную истину, которая будет принята и отцами и сыновьями, — вот тогда только жизнь перестанет быть неэкономной. Не думайте, что я философствую ради пустого философствования. Все то, что я говорил только что, я говорил для вас, Виткевич. Люди нашей эпохи — вы, я, наши друзья — должны помочь своим потомкам в их рациональном созидательстве, очищенном от скорлупы сомнений и колебаний. Что светит нам в темной ночи поиска? Знание. Кто несет знание? Книга. Кто создает книгу? Человек. Эрго: не побег должен быть вашей общечеловеческой, гуманистической целью, а служение идеалу будущего. Своими трудами вы должны познакомить потомков с неизвестными до сих пор народами Востока. Ваш план побега эгоистичен. Да, да, это так! Этим вы обкрадываете будущее. Ваши книги по географии и истории киргизов, узбеков, афганцев, ваши словари, собранные вами сказки и стихи — все это погибнет, ежели вы уйдете отсюда, добившись, таким образом, свободы для одного себя, для человека, который — ничто без общества людского. Помогите будущему, Виткевич!

Иван хмурился. Переносье стянуло резкой продольной морщинкой, которая властно резала складки на лбу. Медленно, раздумчиво, как бы самому себе, он стал говорить:

— Почти что такие же мысли высказывал мне бывший здешний батальонный командир Яновский. Он говорил, что моей главной целью в жизни должна быть востоковедческая наука. Но он признавался, что говорил так, разуверившись в возможности завоевания свободы. Он говорил так потому, что хотел мне дать утешение, занятость...

— Я ученый, Виткевич. Моя революционность — это революционность ботаника, геолога, химика и географа. Я старик. Я никогда никому не лгал и не лгу. Не в моих привычках лгать даже во спасение. Вы потрясли меня своей верой — я полюбил вас. Вы показали мне составленные вами словари восточных языков — я стал глубоко уважать вас и как своего коллегу и как стойкого человека. Следствие моей любви и моего уважения к вам — то, что я говорил о вашем месте в жизни. Я беру с вас слово: год вы ждете от меня или от моих друзей помощи в перемене судьбы. Я не верю, чтобы в России, в стране, которая впитывает в себя культуры и Азии и Европы, не оказалось людей, которые бы не заинтересовались

вашим делом. Итак, год. Если помощь и перемена в жизни не придут, вы вольны в своих поступках. Согласны?

Иван ничего не ответил. Затушил свечу. Перенес ее со стола на тумбочку около кровати. Потом подошел к Гумбольдту.

Попов отпрянул от окна. Припадая на левую ногу, затекшую во время столь длительного стояния на одном месте, он побежал к батальонному командиру.

4

В жизни каждого человека бывают такие периоды, когда прежнее, пережитое отпадает, уходит, а новое, неведомое не наступило еще. Это время — чрезвычайно ответственно и являет собою новую веху на пути человека вперед. Причем грядущее порой бывает предопределено именно этим промежуточным периодом, остановкой, решающей подчас так же много, как и события, насыщенные страстью и борьбой. В дни и годы событий человек — деятель. Он как никогда остро ощущает свое могущество, властную силу мозга своего и мышц, ему подчиненных. Не всегда, да и не каждый участник событий большого значения в состоянии дать верный, всесторонний анализ происходящему.

Всякое движение невозможно без возвращения взглядом назад, в пройденное. Но... обернется, глядишь, человек, а позади радости, успехи, слава. Нет чтобы внимательно все разглядеть, осмыслить истоки побед, понять скрытые пружины успехов и еще более разумно пользоваться ими в достижении новых побед! Увидал: все хорошо, легко, свободно — и пошел вперед без оглядки. Прошел год, два — спотыкаться счастливчик начал. Теперь уж он в злости назад оборачивается и сердито, без прежней беззаботной веселости смотрит вперед.

А другой, наоборот, изо всех сил бьется, а позади одни горести и лишения. И предается такой человек своему горю, на все рукой машет: «Пропадите, мол, вы все пропадом, с меня моего хватит!»

А ведь и в первом и во втором случае надо бы остановиться и наново пересмотреть все прошедшее. Тогда в прошлых радостях можно было бы увидеть начало горестей, и, наоборот, в горестях — начало неведомых радостей.

Но если разобраться сам ни в чем не можешь, — ветер славы глаза туманит или слезы горестей заволакивают, — оглянись!

Оглянись же! Люди кругом, живешь не в пустыне. Люди — они всегда помогут, только надо к ним с чистым сердцем идти.

...Не столько по молодости лет, сколько по складу характера Иван не умел оглядываться. Скорее даже боялся. Позади — одно горе, беспредельное горе, унижения. Трудно предполагать, как сложилась бы судьба Виткевича, не окажись рядом с ним декабриста Бестужева и простого солдата Ставрина, батальонного командира Яновского, гениального Гумбольдта и верного товарища Песляка.

Эти люди, принявшие к сердцу участь юноши, не снисходили к нему жалостью, не ограничивались побрякками по службе и успокоениями в душевных разговорах.

Люди, окружавшие Виткевича, передавали Ивану холод своего ума, пламень сердца и негибимость воли в достижении главного — Человеческой Свободы.

Сначала Иван не понимал, не хотел понять этого. В детстве и юности личные обиды, как правило, заслоняют все остальное, великое и первое в понимании каждого честного взрослого человека.

Нужна была филигранная воспитательная работа, чтобы юноша смог осознать себя в едином строю всех его окружавших.

К ночи Иван кончил собирать вещи Садека. Он еще раз затянул ремни, проверил коленом, достаточно ли плотно упакованы кастрюли, чайник и тренога-вещи в дальней дороге необходимые, — и пошел вместе с Садеком к крепостным воротам.

Сегодня ночью здесь должен был пройти караван, возвращавшийся из Оренбурга в Бухару.

Садек шел позади Ивана, низко опустив голову. Он часто спотыкался, потому что не смотрел под ноги. Садек плакал.

— У тебя должна быть родина, — тихо сказал Иван, не оборачиваясь, страшась не выдержать и расплакаться так же, как и Садек.

По небу ползли белые облака. Луна висела совсем низко над степью, словно тусклый белый фонарь.

— У тебя должна быть родина, — повторил Иван. — Без родины человек погибает.

— У меня есть родина, — ответил Садек, — и друг есть.

Иван остановился. Садек налетел на него и рассмеялся сквозь слезы.

— Неужели ты можешь выбирать между другом и родиной? — спросил Иван.

— А ты?

— Я?

— Да, ты.

Где-то вдали, в тихой, заснувшей степи, зазвенел высокий голос караван-баши. Иван вздрогнул и ответил:

— Нет. Не могу.

Голос все приближался. Садек отер слезы, прислушался к далекому голосу и прошептал:

— Спасибо тебе.

Потом они обнялись. Виткевич отстранил от себя Садека, отвернулся и, высоко подняв острые плечи, пошел в крепость, не оглядываясь более.

Голос караван-баши все приближался.

Глава шестая

1

Уж он-то знал, что такое быть вне закона! Он знал, что такое плен. Он знал, что такое чужбина. Он многое знал, многое понимал по-своему, интересно, мудро, пряча ум и блестящую сообразительность под личиной грубого добродушия.

Он был незаконным сыном графа Алексея Константиновича Разумовского. И фамилию он носил хитрую — Перовский. По тому подмосковному селу, в котором провел детство.

Не кончив университета, пятнадцатилетним мальчиком Перовский ушел на войну с Наполеоном, во время Бородинского сражения был ранен и попал в плен к французам.

Потом, по прошествии нескольких весьма бурно проведенных лет, он стал адъютантом Николая, тогда еще великого князя.

Друг Жуковского, приятель Пушкина, спаситель Владимира Даля. Именно — спаситель.

"А. Н. Мордвинов, управляющий III отделением
Канцелярии Е. В. Александру Христофоровичу
Бенкендорфу, шефу жандармов
7 октября 1832 года

...Затем много шуму у нас наделала книжка, пропущенная цензурою, напечатанная и поступившая в продажу — «Русские сказки казака Луганского». Книжка напечатана самым простым слогом, приспособленным для низших классов, для купцов, солдат и прислуги. В ней содержатся насмешки над правительством, жалобы на горестное положение солдат и пр. Я принял на себя смелость показать ее Его Величеству, который приказал арестовать сочинителя, а бумаги его взять для рассмотрения. Я теперь этими бумагами занимаюсь..."

Узнав об аресте Даля, Жуковский поехал к Василию Алексеевичу Перовскому. Тот был только что назначен исполняющим должность оренбургского военного губернатора.

После беседы, состоявшейся между друзьями, Перовский испросил аудиенции у государя, и через несколько часов Даль был

освобожден. А еще через несколько дней он уехал вместе с Перовским в Оренбург на должность чиновника для особых поручений при губернаторе. Только Перовский мог себе позволить такое. Арестанта — в чиновники для особых поручений! В столице сплетники многозначительно переглядывались, но мнений своих не высказывали вслух: Перовский был слишком силен.

Приехав в Оренбург, Перовский оказался в обществе людей, которых больше всего интересовал вопрос: где лучшая рыбалка, в Сакмаре или на Урале?

Но Перовский приехал в Оренбург не для того, чтобы отбывать службу. Он приехал для того, чтоб приводить в исполнение свои замыслы — широкие, отважные, интересные, целиком соответствовавшие уму и сердцу их автора.

Осуществлять замыслы без людей, понимающих, что к чему, он не мог. Нужны были люди. Умные, образованные. И — несбыточная мечта — знающие Восток. Хоть немножко, хоть самую малость. Нужны были люди. Люди. Люди. Люди. Перовский искал людей.

2

Несколько раз как в беседах с высшими сановниками России, так и с выдающимися учеными и писателями Александр Гумбольдт говорил о том, что в оренбургских степях под солдатской шинелью скрывается замечательный ученый-востоковед, знаток языков, истории и литературы азиатских. Неизвестно какими путями, но весть эта дошла до Владимира Даля, а от него до Перовского. Заинтересовавшись, Перовский вызвал к себе жандармского полковника Маслова. Тот ничего не знал о теме предстоящего разговора и поэтому струсил: говорили, что губернатор недолюбливал жандармов.

Узнав, где губернатор, — Перовский не очень-то сидел на месте, — Маслов отправился в летнюю резиденцию, расположенную на высоком берегу Урала. Перовский любил это место больше других, потому что отсюда можно было обозреть и Европу и Азию одновременно: граница между двумя континентами проходила как раз по реке.

Перовский сидел на большой, застекленной с юга, от суховеев, веранде и курил кальян. Затягиваясь, он слушал, как через воду проходил табачный дым. Наконец Перовский уловил характерное бульканье воды и попробовал сделать губами похожее.

Вышло удачно.

Поднимаясь по широкой лестнице на второй этаж, Маслов услышал раскаты мощного губернаторского хохота.

Камердинер провел Маслова в большую белую комнату и скрылся за дверью, ведущей на веранду. Через мгновение он вернулся и предложил Маслову войти.

Не оглядываясь, губернатор поманил Маслова пальцем. Когда тот приблизился, Перовский обернулся.

— Слушай, — сказал он шепотом, — слушай же.

Маслов начал слушать. Лицо его стало донельзя серьезным. Голова склонилась набок, как будто левым ухом он слышал лучше, чем правым. Маслов чувствовал себя неловко. Он не знал, как сейчас следовало поступить: смеяться, как это делал до его прихода губернатор, или просто продолжать слушать, оставаясь серьезным.

Перовский, словно забыв о Маслове, пускал клубы дыма. Маслов рискнул и тихонько, чуть заметно, хихикнул. Перовский отодвинул кальян и сделал губами непристойный звук. Маслов снова хихикнул, но теперь уже уверенней.

— Ты чему смеешься, полковник? — нахмурился губернатор. — Надо мной смеешься?

— Помилуйте, ваше высокопревосходительство, что вы. Я просто восторгаюсь вашим умением пускать дымы из этого адава приспособления.

Перовский посмотрел на Маслова сощуренными глазами и покачал головой. Маслов подумал, что сам он качает точно так же головой в том случае, если называет кого-либо из своих подчиненных «дубиной».

«Ай-яй-яй, — быстро подумал полковник. — Не угадал я. Плохо дело».

И он напустил на свое лицо непроницаемо-холодное выражение, которое так нравилось гражданскому губернатору. Именно, когда он сделал такое лицо, гражданский губернатор сказал ему: «Вы думающий человек, мосье Маслов. Мне приятно бывать вдвоем с вами».

Маслов запомнил эти слова на всю жизнь и именно тогда начал было учить своих подчиненных «делать лица». Но ничего путного не вышло: Маслову рассказали, что ротмистра Поршнева за разучиванием лиц застала супруга и за это избивала жестоко мужа, заподозрив его в неверности.

— Скажи мне, полковник, — после короткого молчания спросил губернатор, — что у тебя за ссыльный лях в Орске живет?

— Витковский?

— А я почему знаю! — пожал плечами Перовский.

Маслов чарующе улыбнулся:

— Ну, конечно, он, ваше высокопревосходительство. Он, он, больше там нет никого.

— Что скажешь о нем?

В считанные секунды Маслов должен был догадаться, какого ответа губернатор ждет, и решить, какой ответ надо дать, чтобы не попасть впросак.

— Не лучше ли мне, ваше высокопревосходительство, дать оценку Витковскому не моими словами, но материалами, на него собранными? — сманеврировал Маслов, ожидая, как разговор повернется дальше.

— А у тебя язык-то есть? Язык? — И, высунув свой красный, лопатой, язык, губернатор тронул его мизинцем.

— Он ссыльный, ваше высокопревосходительство, а это, по существу, определяет все.

— Не о том спрашиваю, полковник. Ты не финти, не финти.

— Как можно, ваше высокопревосходительство...

— В том-то и дело, что нельзя. Бунтовщик, верно, а?

— Бунтовщик, ваше высокопревосходительство.

— Ваше высокопревосходительство бунтовщик?!

Маслов сконфузился.

— Что вы, помилуй бог, Василий Алексеевич!...

— Экий ты, право, — усмехнулся Перовский и поднялся с кресла.

Обошел Маслова и, остановившись перед ним, понюхал воздух. Потом взял жандарма обеими руками за голову и, приблизив к себе, обнюхал полковничьи волосы, обильно смоченные ароматною водою.

— Красив ты у меня. Для баб смертоносен. Ну ступай, душа моя, ступай. Молодец, хитрый ты, молодец. А поляка мне этого доставь.

— Слушаюсь.

Когда дверь за Масловым закрылась, Перовский улыбнулся и еще раз покачал головой.

Виткевича привезли из Орска поздним вечером. До конца не поняв истинного смысла в губернаторском интересе Витковским, кстати говоря, Виткевичем, как выяснилось на поверку, Маслов хотел на всякий случай посадить ссыльного на гауптвахту. Но когда, наконец, после долгих раздумий полковник пришел к этому решению, ему передали приказ губернатора. Перовский требовал доставить к нему ссыльного немедленно.

Маслов посадил Виткевича рядом с собой в коляску, и они покатали в летнюю резиденцию. Тени от громадных деревьев, изрезанные острыми бликами луны, лежали вдоль дороги, похожие на языки черного пламени.

«Восемь лет промелькнуло, а словно день, — думал Иван, осторожно отодвигаясь от мягкого, теплого плеча полковника. — Восемь лет. А чего добился за эти годы? Устал. В двадцать два года — устал».

Где-то далеко пели. Голоса нескольких мужиков, сильные и низкие, то сливались в одно целое, то разламывались, мешая друг другу. Голоса улетали в небо и там замирали.

Ай, Урал-река,
Глубокая!

«И совсем не глубокая река, — поправил про себя Иван певцов, — Коварная река. Шаг сделаешь неосторожный — и в омут, к рыбе царевой, красной — на обед».

Белый лебедь плывет,
Расправляется.

«Расправляется... Только лететь-то куда? Некуда лететь. Все равно обратно вернется, коли осенью в полынье не замерзнет или лиса не пожрет».

— Приехали, вылезай, — сказал Маслов, первым выскочив из коляски, резко остановившейся около освещенного подъезда.

Точно так же, как и три дня назад, непонятно откуда выскочил камердинер и так же, как и в прошлый раз, ничего не говоря и ни о чем не спрашивая, провел прибывших к губернатору, на веранду.

— Иди, — кивнул головой на дверь полковник, предлагая Ивану входить первым.

Иван вошел. Губернатор сидел в кресле и читал. В зыбком свете свечей он показался Виткевичу богатырем из киргизских сказок. Губернатор отложил книгу и шагнул навстречу вошедшим.

— Ну, здоров, поручик, — сказал Перовский.

— Я полковник, ваше превосходительство, — поправил его Маслов. — Полковник, а не поручик...

— А тебе-то здесь что надо, душа моя? Я не с тобой здороваюсь, а с Виткевичем.

— Но он же не поручик, он нижний чин, — попробовал исправить положение Маслов, — Ах, боже мой, нижний чин! Ступай-ка, душа моя, домой, отдохни, а мы тут побеседуем. Иди, право...

Иван почувствовал, как в голове у него тонко-тонко зазвенело. Перовский, по-видимому, заметил, как сильно побледнел Виткевич. Он взял Ивана под руку и усадил в кресло.

«Как скрутило беднягу, — подумал Перовский. — Аж серый весь стал».

Когда Маслов вышел, Перовский пояснил:

— Глупость сносна только при отсутствии самолюбия. Но умничанье, соединенное с глупостью, производит смесь, невыносимую для моего желудка. А ты располагайся. Ты у меня в дому, а я хлебосолен. И, как россиянин истый, языком помолоть люблю.

Губернатор опустил в кресло напротив и глянул прямо в глаза Ивану. Серые глаза Виткевича сейчас сделались черными, оттого что расширились зрачки.

— Ну-ка, друг мой, скажи мне что-нибудь по-персиански, — весело попросил Перовский.

— Вазиха-йе авваль е-шома чемане дарад?^[8]

— А по-киргизски?

— Сиз айтканрыз, чынбы?^[9]

— Ну, а по-афгански? Понимаешь?

— Альбата, похезим^[10].

— Молодец! — восхищенно произнес Перовский. — Просто слов нет, какой молодец! Только что это ты говорил тут? Может, ругал? Может, ослом меня обозвал?

Виткевич чуть усмехнулся.

— Нет, господин губернатор. Я просто спрашивал, что означают ваши первые слова, ко мне обращенные?

— Ты про поручика, что ль?

— Да.

Перовский прошелся по веранде. Остановился. Заложил руки за спину, начал раскачиваться с носков на пятки.

— С сегодняшнего дня ты офицер. Об этом я позабочусь. Я не шучу, нет. С этой минуты ты не только офицер. Ты — адъютант мой. И служить одному мне будешь. А это хорошо. Хорошо, потому что я умный. Умней других. Понял?

Виткевич молчал. Он научился молчать и слушать.

— Понял, что ль? — переспросил губернатор.

— Да. Понял.

— Я, видишь ли, кальян курить полюбил. Не от причуды, нет. Изобретен он на Востоке. А коли я это изобретение потребляю, значит оно любопытно, так?

— Все ж таки от него кашель, — вставил Иван.

— А ты, брат, перец! — ухмыльнулся Перовский. Виткевич положительно пришелся ему по вкусу. — Чистый перец. Ну, молодец, молодец, я люблю таких. Да. Так вот, о чем бишь я? Изобретен кальян на Востоке. Так вот я и хочу с ними, с восточными людьми, за одним столом посидеть, кальян покурить. Вот я и хочу, чтобы ты меня с теми, с азиатами, поближе познакомил. Понять их хочу. А? Лихо? А? Чего молчишь?

— Какие обязанности мне вменяться будут?

— А я почему знаю? Сам выбирай! Сам. Что хочешь, то и вменяй.

Перовский прошелся по веранде и, остановившись за спиной Ивана, крикнул с такой силой, что даже в ушах заломило:

— И-эй!

Вошел камердинер.

— Портняжный мастер здесь? — спросил Перовский.

— Ожидает, Василий Алексеевич.

— Хорошо. Ступай.

Камердинер вышел.

— Иди к портному, Виткевич. В порядок себя приведи, офицеру приличествующий. О деньгах не тужи. Я плачу за тебя.

Иван поднялся, чтобы уйти. Перовский обнял его за плечи, подвел к балюстраде веранды и кивнул головой на Восток, за Урал.

— Азия, — тихо сказал губернатор.

Там полыхали зарницы.

Часть вторая

Глава первая

1

Полицейский агент в Подгурже отличался довольно редким среди австрийцев пристрастием к греховному зелью. Выпив, он становился необычайно разговорчивым.

Его друг, жандарм Ротвиц, человек добрейшей души, гладил агента по большой лысой голове и вздыхал:

— Все выдумываешь ты, Фриц.

Фриц Горовиц действительно выдумывал. Он выдумывал мнимые заговоры злодеев-революционеров, а выдумав, писал письма правительствам, посольствам и полицейским ведомствам восьми европейских государств, Сначала в русском консульстве в Кракове удивлялись, получая подобные донесения.

После проверки выяснилось, что все это пустой вымысел, и на письма, приходившие от подгуржского агента аккуратно двадцатого числа каждого месяца, в канцелярии консульства начиналась охота: каждому хотелось прочесть о «заговорах» первым.

...В июле 1832 года в Краков был назначен генеральным консулом действительный статский советник Заржецкий. Утром двадцатого июля он пришел в консульство раньше обычного, потому что забыл на своем рабочем столе письмо от графини Сосновской, написанное в выражениях, позволявших судить о близости их отношений.

Консул считал себя человеком высоконравственным и поэтому опасался, что письмо могут прочесть подчиненные. Он волновался всю ночь. Обнаружив письмо на столе в прежнем положении, консул успокоился. Домой возвращаться не было смысла, и Заржецкий решил просмотреть пришедшую корреспонденцию. Его внимание привлек большой фиолетовый пакет за четырьмя сургучными печатями. Заржецкий сломал сургуч и вытащил хрустящий лист бумаги.

Первые строки заставили его вздрогнуть. Прочитав письмо до конца, консул оглянулся на дверь и быстро пошел к себе в кабинет.

Когда пришли на службу чиновники, они первым делом бросились искать письмо от Горовица. Впервые за последний год от

агента корреспонденции не поступило.

Решивши, что Горовиц, по-видимому, занемог нервическою горячкой, чиновники расселись по местам и занялись своими делами.

Через час дверь кабинета консула отворилась, и, ни на кого не глядя, Заржецкий быстро прошел через комнату. Вскоре он вернулся и коротко бросил:

— Прошу всех ко мне.

Чиновники переглянулись и гуськом двинулись следом за консулом, наступая друг другу на пятки. Потирая руки, Заржецкий несколько раз прошелся по кабинету. Он был взволнован и поминутно поправлял воротник рубахи, врезавшийся в шею.

— Милостивые государи, — начал консул, — мне поступило сообщение о злодейском революционном заговоре против коронованных особ.

Желая подчеркнуть эффект, Заржецкий поднял палец и повысил голос:

— Мне, господа...

В этот торжественный момент Ванечка Постаев, самый молодой из чиновников, увидел на столе вскрытый фиолетовый пакет и прыснул со смеху. Консул вздрогнул. Постаев натужно закашлялся, стараясь заглушить смех. Заржецкий сурово посмотрел на него и опустил палец. Эффектный жест не вышел.

— Господа, — продолжал он прежним, обычным своим голосом.

Но даже выходка мальчишки-чиновника не смогла испортить прекрасного настроения консула. Еще бы! Всего несколько дней в должности — и раскрытие злодейского заговора! Консул воодушевился снова.

— Итак, господа, мой друг и наш доброжелатель Горовиц в секретной депеше сообщил мне...

И только при этих словах консула все чиновники поняли, наконец, чему смеялся Постаев. Чиновники начали багроветь от сдерживаемого хохота.

— В чем дело, господа? — нахмурился консул.

— Он сумасшедший! — выпалил Постаев и уже в голос захохотал.

— То есть как это? — растерялся Заржецкий.

— Точно так, — подтвердил старший по канцелярии, — он сумасшедший-с...

Заржецкий грузно, опустился в кресло, почувствовав пустоту в желудке. Он расстегнул пуговицу у шеи и жалобно сказал:

— А я уже нарочного послал в Варшаву...

2

Рапорт Заржецкого вызвал в Варшаве переполох. Из Варшавы немедленно отправился гонец в Петербург, к Бенкендорфу.

"Милостивый государь, Александр Христофорович!

Генеральный консул в Кракове уведомляет, что по дошедшим до него сведениям... в Вюрцберге составлено тайное общество, имеющее целью злодейский умысел, угрожающий Коронованным особам. Из числа сих лиц купцу Пабстману поручено проникнуть с сею целию в Австрийские владения, а позументщик Гутброд и часовые мастера Бешль и Майер, а равно некто Амберг назначены для свершения таковых же преступных покушений в других государствах..."

После получения этого рапорта Александр Христофорович повелел разослать во все губернии государства Российского секретные письма, в которых содержался приказ арестовывать всех Пабстманов, Гутбродов, Бешлей, Майеров, а равно Амбергов.

Первым откликнулся генерал-губернатор столицы граф Эссен. Он писал:

"Милостивый государь, Александр Христофорович!

Вследствие отношения Вашего, я предложил С.-Петербургскому гражданскому губернатору и обер-полицмейстеру, дабы употребили деятельные и строжайшие меры к арестованию и представлению иностранцев; купца Пабстмана, позументщика Гутброда и часовых мастеров Бешля и Майера, а равно некоего Амберга в случае нахождения кого-либо из них в столице или губернии, или в случае прибытия в оные.

Поспешая уведомить Вас, милостивый государь, о сем распоряжении, долгом поставляю присовокупить, что так как оные иностранцы могут скрываться под чужими именами, то не излишне было бы иметь приметы их.

С совершенным почтением и истинною преданностью имею честь быть Вашего сиятельства покорнейшим слугою Петр Эссен".

На запрос III отделения о приметах злодеев из Варшавы ответили:

"Милостивый государь, Александр Христофорович!

Действительный статский советник Мордвинов просил меня о сообщении примет вышеозначенных лиц или других вернейших указаний.

Я сносился по сему предмету с генеральным консулом в Кракове, от коего получил первоначальные сведения об означенном обществе, но статский советник Заржецкий уведомил меня, что он получил сведения о таком заговоре от полицейского агента, пребывающего в Подгурже. И что как это есть единственный источник, из которого он мог почерпать какие-либо пояснения, то он и находится в невозможности доставить требуемые сведения".

После этого письма Бенкендорф потерял интерес к «тайному обществу». Благо своих российских тайных обществ, действовавших, а не мифических хватало. А в III отделение еще много лет спустя время от времени поступали донесения от жандармов российских, арестовывавших всех Пабстманов, Бешлей и прочих злодеев, выдуманных большой фантазией австрийского полоумного полицейского Фрица Горовица.

3

Через год после начала злополучной истории с Манерами, Бешлями, а равно и Амбергами, уже после того, как в Петербурге, в царстве Польском, в Белоруссии и Нижнем Новгороде были взяты под стражу все лица с вышеперечисленными фамилиями, уже после того, как их, подержав в кутузке, наиделикатнейшим образом допросили, а потом, извинившись, отпустили на все четыре стороны, только после всего этого делом Бешля, Пабстмана, Майера и Амберга занялись в Оренбурге.

И — ужас и счастье одновременно — Майер нашелся. Да не какой-нибудь завалящий, а настоящий, польский; солдат, служивший в здешних краях не первый год. За Майером было установлено наблюдение, но поскольку ничего интересного наблюдение не дало, дело решили убыстрить. Однажды, когда Майер вышел за крепостные ворота, он был схвачен и доставлен в Оренбургский тюремный замок по обвинению в «попытке бежать в степи».

Устав молотить кулаками в холодную стену одиночного каземата, Людвиг Майер лег на постель и сразу же уснул, истомленный переживаниями бурного дня. Проснувшись, он увидел над собой лицо жандармского офицера. Офицер неотрывно смотрел на него.

— Господин Майер относится к своему аресту, как истинный стоик.

Майер вскочил на ноги и, путая русские слова с польскими, закричал, размахивая руками:

— За что?! Проклятье! Почему я здесь?!

Кричал он утомительно долго и безалаберно.

Уфимский мещанин Андрей Стариков, сидевший в соседней камере за «обложение гражданского губернатора Дебу взяточником и вымогателем», презрительно скривил губы. «Так ли надо кричать-то? Новичок, видно. Кричать с подвываньем надо, чтоб жалость вызвать». И он завыл тонким голосом, всхлипывая.

Услыхав его вой, Майер замолк. Прислушался. Глаза округлились от ужаса, и он начал беспокойно вертеться по камере. Жандарм сосредоточенно чистил ногти.

— Что это? Что это? — быстрым шепотом спросил Майер. — Это что же?

Жандарм, казалось, не обращал на него никакого внимания. Ногти у него были розовые, формой похожие на круг. Это сердило жандарма, и он спиливал их по краям, стараясь придать форму ромба.

Майер приложился к стене ухом. Рядом кто-то выл так, что, казалось, мучали его невозможно. По спине у Майера поползли холодные, колючие мурашки. Он подбежал к жандарму и заглянул ему в глаза. Тот спрятал в карман пилку для ногтей, еще раз внимательно оглядел свои пальцы и, поднявшись со стула, начал приближаться к Манеру. Он смотрел поверх Майеровых глаз, куда-то в надбровье. Майера объял ужас. Жандарм медленно шел на него.

Шаг, еще шаг, еще. Майер отступал, осторожно ощупывая пятками место позади себя. Ему казалось, что он вот-вот должен провалиться в какую-то яму. Потом Майер ударился спиной о стену и остановился.

Остановился и жандарм.

— Нуте-с, милостивый государь, — тихо сказал он, — отвечайте сразу, не думая: где Пабстман?

— Я не знаю, — быстро ответил Майер и слотнул слюну.

— Где Амберг?

— Не знаю, не знаю, — быстро прошептал Майер, поднимая руки к лицу.

— Отвечай! — рявкнул жандарм. — Отвечай!

Майер почувствовал, как в груди у него что-то оборвалось, он закачался и начал медленно оседать на пол.

Когда по прошествии нескольких месяцев жандармский чин из Оренбурга приехал в столицу и в числе прочего рассказал о задержании Майера, к его сообщению отнеслись весьма сдержанно: Майеры, Мейеры, а равно и Моеры за этот год достаточно надоели чиновникам III отделения. Кто-то даже весьма прозрачно намекнул на то, что все это дело с Вюрцбергским обществом просто-напросто вымысел, «причуда романтики».

В Оренбурге стало известно это мнение центра. Было принято решение держать Майера под стражей. На всякий случай. Если он в себе никаких злоумышлений не таит — хорошо. А ежели таит — того лучше. И для него самого, как не имеющего возможность свой умысел в исполнение привести, и для тех особ, противу которых возможный вымысел мог быть направлен. И так и эдак — все хорошо. И все по-христиански. Если не виновен — «Христос терпел и нам велел». Если виновен — то и говорить не о чем. А отпустить опасно: все-таки Майер.

4

С того времени как Виткевич стал адъютантом губернатора, жизнь его удивительным образом переменилась. Главной и единственной его работой была та, к которой он стремился последние годы: изучение Востока. И в этом он успевал делать столько, что даже работоспособнейший Владимир Даль только разводил руками.

Иван проводил большую часть времени в архивах генерал-губернаторства. Он бродил по подвалу, в котором хранился архив, среди пыльных полок, уставленных кипами бумаг, порыжелых от времени, развязывал их — на выбор — и, примостившись на перевернутом ящике, погружался в чтение манускриптов-российских, таджикских, персидских, арабских. Чего здесь только не было! Переписка оренбургских губернаторов с бухарскими и хивинскими ханами, сообщения о крестьянских бунтах, торговые книги прошлых лет — все это было разбросано, не систематизировано.

Наиболее ценные рукописи Иван откладывал в сторону и уносил к себе. Там он и работал: делал выписки, переводил, на отдельные карточки записывал новые, неизвестные ему слова, составлял краткий очерк истории торговли России с Востоком. Изучая торговлю, цены, потребности восточного рынка, он в который раз поражался безмозглой политике Нессельроде. К восточному рынку в России относились словно к досужему, а подчас просто надоедливому, пустому занятию.

Интересы народов, соседствующих с Россией за Уралом, не учитывались в торговых операциях. На этом государство теряло сотни тысяч золотых рублей.

Работая с манускриптами, Иван узнавал имена неведомых миру героев — землепроходцев, покорителей пустыни. Изучая материалы архива, Виткевич заново оценивал удачи и ошибки своего путешествия в Бухару, определял, как следовало бы идти в Азию, если судьба пошлет ему счастье повторить свой поход через пески, в Бухару — город сказки.

Когда Иван попал в Бухару в первый раз, он еще не осознал себя как ученый, как востоковед. Свой возможный, следующий поход сейчас он представлял научной, тщательно продуманной экспедицией. Виткевич отдавал себе отчет в том, что Петербург никогда не отправит его с научной экспедицией в Бухару, да и бухарский хан такую миссию не примет. Бухарский хан понимал только один язык — язык торговой миссии, а все остальное он считал тонко замаскированной хитростью.

Поэтому Иван готовил себя к такой экспедиции, которая бы ничем не вызвала подозрений у ханских стражников и позволила бы ему собрать языковой, литературный и исторический материал. Религиозный фанатизм мусульман не разрешил бы Виткевичу прийти в Бухару с крестом на груди. Следовательно, он мог по-

настоящему плодотворно работать на Востоке, лишь считаясь человеком Востока.

А для этого Восток надо было знать великолепно. И Виткевич выбирал из документов самое интересное. Он рассчитывал когда-нибудь написать книгу о племенах, кочевавших по Устюрту, о Бухаре, о ее людях, обычаях, языках...

...Виткевичу сейчас работалось как никогда раньше хорошо и потому, что он чувствовал заинтересованность в его труде со стороны окружавших его людей: Даля, Перовского, ссыльного композитора Алябьева. С приездом нового генерал-губернатора в Оренбурге многое изменилось, а главное — изменился самый дух города. Оренбург стал воротами в Азию. Науку и просвещение определял небольшой круг людей, но, общаясь с другими, они не могли не оставить следа в сознании местных жителей.

Владимир Даль, Александр Алябьев, ссыльный поляк ботаник и естествоиспытатель Фома Зан, путешественник Кармин, геолог и ботаник Карин — все эти люди, близко окружавшие Ивана, не могли не наложить своего отпечатка на мышление и работу Виткевича. Все эти люди не могли не помогать ему в его труде. И они помогали.

У Виткевича вошло в привычку каждое утро отдавать работе над словарями три-четыре часа, перед тем как уходить в архив. В сарайчике, как раз напротив его окон, жила веселая семья кур. Глава этого семейства, единственный петух, по прозвищу «многоженец Амвросий», каждое утро, едва только серая полоска рассвета начинала заниматься над Уралом, гордо задирает голову и, сделав вид, что он совсем и не спал ночью, звонко возвещал рождение нового дня. Куры начинали беседовать все сразу. Иван считал, что они таким образом рассказывают друг другу сны. Через полчаса многоженец Амвросий возвещал утро во второй раз. Хотя куры уже все проснулись, но Амвросий не унимался: ему хотелось покрасоваться.

Иван вставал со вторым его криком и, накинув на плечи сюртук, шел на Урал. «Ах, Урал-река, глубокая!» Иван как-то поймал себя на мысли, что всего год назад он считал Урал совсем не глубоким. Это было тогда, когда Маслов вез его к Перовскому.

Виткевич разделся, закрыл глаза. Бросился в реку. Обожгло холодом, понесло вниз.

Иван развернулся, лег встречь течению и, сильно загребая руками, поплыл. Время от времени он посматривал на корягу, торчавшую из воды у берега. Удивлялся: сколько ни плыл, как ни старался изо всех сил, коряга оставалась на месте, сам он оставался на месте, и только Урал несся на него стремительно, быстро.

Лежа на холодном, не прогретом еще солнцем песке, Иван думал: «А ведь действительно азиатская река. Вода ласковая, мягкая. Но попробуй, осиль ее. Не выйдет. Мощь в ней истинно великая сокрыта».

С севера лезли снежно-белые тучи. Во всем чувствовалось приближение осени: даже в дневной жаре. Парить начинало часов с десяти, когда Иван уже заканчивал работу. Он натолкнулся на одну интересную тему: сущность афганского глагола «кавыл», что означает по-русски «делать». Иван любил изыскивать сравнения. А здесь сравнение само напрашивалось. Во время последней поездки в степи, — а Иван теперь в степи ездил, когда считал нужным, — разговорившись с киргизами, он заметил, что те сухую стойкую траву называют «кавыл». Так же это слово произносили и русские казаки, жившие по правую сторону Урала. То есть одно слово и русские, и киргизы, и афганцы произносили одинаково.

«А не есть ли в этом большой смысл? — думал Виткевич. Он тщательно обгрызал кончик пера, волновался. — Может быть, кавыл, сухая трава, скрывающая от людей землю — основу основ богатства и довольства народного — и означает у афганов истинный смысл глагола „делать“? Вернее — очищать землю, затрачивать огромный труд, убирать кавыл — не это ли послужило основой к словообразованию, к переходу названия травы в объяснение действия? Кавыл: освобождать землю для посевов, для блага человеческого?»

Иван вскочил со стула, начал быстро ходить из угла в угол. Иногда он подносил ко рту пальцы: хотелось грызть ногти от мыслей. Одергивал себя. Пять лет назад дал слово Анне. А слово держать Иван умел.

Бегая по комнате, он размышлял о том, как было бы хорошо сесть и сразу же написать то, что представлялось ему таким простым и ясным. Но он нарочно оттягивал эту минуту, копил в себе новые догадки, сравнения, выводы. Только после нескольких часов расхаживания по комнате Иван подходил к столу и, не садясь, начинал писать.

Кипа бумаги, исписанной его убористым почерком, становилась все толще и толще.

Ивану доставляло несказанную радость листать бумаги и перечитывать бесчисленное множество раз им написанное.

Глава вторая

1

Сиденье в одиночном каземате вконец сломило Майера. Он перестал кричать и браниться сразу же после беседы с жандармом. После той памятной беседы он плакал и стонал. А потом стал тихим и задумчивым. Было замечено, что почти все время он отдавал молитвам. В перерывах между молитвами он сидел, неподвижно глядя в одну точку. И Майера перевели в каземат к Андрею Старикову. Мещанин ласково улыбнулся новому своему соседу и сказал:

— Ну и слава богу. Вдвоем — не одному.

Арестанты быстро подружились. Майер начал веселеть, молился меньше, а большую часть времени играл со Стариковым в щелчки по носу. Часто они беседовали о чем-то, спрятавшись в угол. Как ни пытались стражники узнать, о чем говорили арестанты, сделать им этого никак не удавалось. Только однажды, как раз перед тем днем, когда Стариков истребовал чернила, перо и бумагу, было услышано, как мещанин сказал Майеру:

— И тогда быть нам на свободе. Ничего, бог нас простит, мы свое уж приняли...

2

"Шефу Жандармов, командующему Императорскою Главною квартирою Господину генерал-адъютанту и кавалеру графу Бенкендорфу от исправляющего должность Начальника VII округа корпуса Жандармов Полковника Маслова.

Содержащийся в г. Оренбурге под стражею в тюремном замке уфимский мещанин Андрей Стариков сделал по пересказу содержащегося с ним арестанта Военного Ведомства из польских уроженцев Майера извет, будто находящиеся в Оренбурге поляки имеют намерение сделать бунт. О чем немедленно донесено было г. Военному Губернатору.

По распоряжению Его Превосходительства составлена следственная комиссия и задержаны по подозрению следующие лица: Фома Зан, Адам Сузин, Иван Виткевич и несколько других. Имеющиеся у них бумаги и переписка схвачены. По получении о сем донесения с первою почтою имею честь представить Вашему Сиятельству".

3

Как и большинство людей, стоявших у власти, Перовский склонен был поначалу больше верить в плохое, нежели чем в хорошее. Тем более, если на этот раз плохое преподносилось ему не в беседе, не намеками игривыми, а бумагами, сшитыми в папку, на верхнем правом углу которой значилось: «VII округ Корпуса Жандармов».

Перовский раз шесть перечитал извет Старикова. Потом отложил от себя папку, придавил ее массивным прессом — тремя бронзовыми амурчиками — и задумался. Лицо у него собралось морщинами, глаза спрятались под нависшими, сведенными к переносью бровями. Мысли, обгоняя одна другую, сталкивались, мешали друг другу.

Любимец Иван Виткевич хотел вместе с остальными поляками гарнизон взбунтовать!

Его, Перовского, казнить, всех казнить!

«Мерзавец! — думал губернатор, видя перед глазами лицо Ивана; его ладную, сухопарую фигуру. — Змея, которую на груди вскормил я. Жало высовывает! Каково, а?! Меня — убить?!» Все остальное казалось сейчас Перовскому менее значительным.

«Ах, мерзавец! — еще пуще распаялся губернатор. — В кандалы его, на рудники, соль копать. Да чтоб босиком!»

Перовский забарабанил пальцами по ручке кресла. «Одного не уразумею: какой ему смысл был на меня руку поднимать? Не я ли ему все дал? Не я ли ему разрешал все? И я тоже дурак — он на меня с лаской глядит, а я и верю!»

У губернатора заныло сердце. Он подошел к окну, распахнул створки и начал дышать глубоко, с присвистом. Боль стихла.

«А Зан? Фома Зан? Умница ведь. Ботаники классифицирует; детей русских уму-разуму учит. Птичек собирает, бабочек разных. И

меня за кумпанию с бабочками решил иголкой пришить. Но почему же, почему?!»

Перовский представил себе Виткевича и полковника Маслова рядом друг с другом.

Враг — Виткевич. Друг — Маслов. Губернатор выругался, густо, забористо, как простой мужик. Значит, выходит, дураки друзьями приходятся, а умные — врагами!

— Эй! — крикнул Перовский.

Камердинер, кажется, стоял у дверей: так быстро он вошел в кабинет.

Перовский пристукнул бронзовыми амурами по извету и сказал:

— Из тюремного замка Виткевича ко мне. Срочно!

4

Виткевича арестовали дома, за работой. Когда ему зачитали постановление об аресте, подписанное собственноручно Перовским, Иван сделался белым как стена.

— Бумаги можно взять с собой? — только и спросил он.

— Мы побеспокоимся об этом, — заверили его жандармы.

Начался обыск. Вели обыск тщательно, вплоть до того, что вытаскивали цветы из горшков и протыкали спрессованную землю острыми иглами. Иван подумал удивленно: «Неужели специально для обысков такие штуки придуманы?»

Спокойствие вернулось к нему как-то сразу. «Все этим должно было кончиться в нашей чудесной империи», — решил Иван, наблюдая за тем, как жандармы перетряхивали книги, рукописи, листы бумаги и, просмотрев, бросали их к себе под ноги. Иван смотрел, как рукописи летели в воздухе, переворачивались, падали на пол, под сапоги жандармов. В грудь входила злость холодная и отчаянная. Он скривил губы.

В тюремном замке Иван обосновался словно в родном доме. Спокойствие, абсолютное, полное спокойствие, пришедшее к нему в начале обыска, сейчас стало его Руководителем, его Знаменем, его Спасением. Даже когда он попросил принести сюда, в каземат, чистую бумагу и чернила и ему в этом отказали, Иван только усмехнулся и, пожав плечами, начал спокойно и неторопливо расхаживать из угла в угол, как будто находился он не в тюремном замке, а в своем маленьком домике.

Так же спокойно Иван воспринял приказание собираться.

— Куда?

Жандармский ротмистр — Иван встречался с ним у Даля — ответил почтительно:

— К господину военному губернатору, мосье Виткевич.

— К губернатору? — переспросил Виткевич и задумался. — Нет, к губернатору я не поеду. Во всяком случае, своей волей не поеду.

Когда ротмистр доложил об этом губернатору, тот заскрипел зубами:

— Струсил! Струсил! Как заяц!

— Нет, — ответил ротмистр, поражаясь своей храбрости, — нет, ваше высокопревосходительство. Мосье Виткевич человек не робкого десятка.

5

Бонифаций Кживицкий был необычайно честолюбив. Не просто честолюбив, не так, как часто бывают честолюбивы представители человеческого рода, а особенно, болезненно. Он завидовал всему окружавшему его. Виткевича, после того как тот стал адъютантом губернатора, Кживицкий считал предателем поляков. Фому Зана, ссыльного польского студента, преподававшего в Неплюевском училище и в свободное время собиравшего гербарии, он называл умалишенным. Алоизия Песляка, сосланного в солдаты вместе с Виткевичем по делу крожских гимназистов, спасшего из огня православного священника и семью его, он считал отщепенцем от святой католической веры. Красивый — он видел всех остальных людей соперниками внешности своей, хотя в Оренбургском крае Кживицкий по праву считался самым красивым мужчиной.

Неудивительно поэтому, что дочка казацкого атамана Петренко, Лукерья, влюбилась в Бонифация с первого взгляда. Девица крутого, казачьего норова, она так и сказала отцу:

— Если не разрешите нам, папенька, обвенчаться, сбегу из дому, и все тут.

Петренко знал свой норов и поэтому к словам любимой дочери отнесся с должным вниманием. В тот же день он вызвал к себе Кживицкого. Разговор их был кратким.

— Я тебе не надежда, — сказал атаман, — у самого у тебя голова есть, сам к своему счастью и бейся. Пока ты солдат — Лушка тебе не пара. Не отдам; под висячий замок посажу, а не отдам.

Бонифаций стоял ни жив ни мертв. «Чертова девка, дура, — думал он о своей возлюбленной. — Надо ж было ей! Теперь этот мужлан загонит куда-нибудь в степь. Дура девка, истинная русская дура».

— Дослужишься до первого чина — быть свадьбе, — пообещал Петренко и, встав со стула, подошел к двери. Посмотрел, нет ли кого. Понизив голос, продолжал: — Коли голова у тебя хорошо посажена, мотай на ус то, что я тебе сейчас открою. — Петренко взглянул на безусое, чистое девичье лицо Кживицкого и поправился. — Усов у тебя, к жалости, нет, так ты на бекленбарды намотай ту новость, что я тебе скажу. Третьего дня в Оренбурге твоих собратий польских за злодеяние, ими замышленное, схватили. Понял?

Бонифаций не понял. Мало ли кого схватили — какое ему до того дело?

— Может, ты из поляков из тех кого знал, чудо подводное?

— А кого там схватили?

— Слаб я на память-то, Фомазинова какого-то, Вит, Бет...

— Виткевича, наверное, — предположил Кживицкий.

— Во, во! Его самого! — обрадовался атаман. — Ты его знал, что ль?

— Мерзавец, — коротко бросил Кживицкий. — Он не поляк, он мерзавец.

— Это хорошо, коли так. Тут тебе и рассужденье: сможешь быть начальству полезным — значит, звезда засветит тебе. А это, мил-душа, звезда не простая, а особенная. Сча-астливая, — протяжно закончил Петренко.

Кживицкий, наконец, понял, чего от него хотят, и улыбнулся.

Получив донос от Кживицкого, в котором подробно говорилось о злодее Виткевиче и о всех тех гнусностях, кои хотел он свершить не только против господина военного губернатора, но и против его величества государя-императора, Перовский взял под мышку кальян, тот самый, что курил в день его первого разговора с Виткевичем, к поехал в тюремный замок. Выходя из дверей резиденции, он сказал камердинеру фразу, над которой тот потом долго бился:

— Если мало — может быть много. Но коли уж слишком много — так сие значит совсем мало.

6

С минуту они смотрели друг на друга молча. Потом Перовский сел, достал кремень и, не глядя на Ивана, принялся выбивать искру. Раскуривши сложный агрегат, он затаился несколько раз, прислушался к бульканью, так успокоительно действовавшему на нервы, и только после этого взглянул на Ивана.

— Ну что ж, — сказал Перовский. — Проиграли партию, портупей-прапорщик Виткевич. Давайте теперь начистоту со мной. Открывайте карты.

Человеческий взгляд... В нем скрыто так много! Только вот беда — читать в нем возможно очень немногое.

— Что глядишь, Иван Викторович? — пожал плечами Перовский, стараясь скрыть непонятное чувство, охватившее его. — Что, в душу заглянуть хочешь? Смотри, может, что и увидишь. Только вот я у тебя увидеть ничего не могу. А это плохо. Плохо. Оттого что люблю я тебя.

Виткевич улыбнулся.

— Что смеешься? Не форси, героическую роль не разыгрывай. Да что ты?! — спросил вконец растерявшийся Перовский. — Что?

Виткевич продолжал улыбаться.

— Перестань, — попросил Перовский. — Перестань! — крикнул во второй раз.

Кашлянул. Стал говорить тихо, без обычных своих прибауток.

— Мальчишка, юнош... Ты понимаешь, что натворил? Ничего не понимаешь, оттого и улыбаешься. Думаешь, мне тебя жаль? Нет. Мне дело твое жаль. Вот он, свидетель, — губернатор ткнул пальцем в кальян, — он свидетель рассуждений наших с тобою обоюдных. Об Азии, Востоке... Кому ты, арестант, нужен? Ну, отпущу я тебя, пошлю обратно в Орск. Азия-то — тью-тью... Не могу же я тебя, как думал недавно, в Бухарию посылать...

Иван вздрогнул. Перовский сделал вид, что ничего не заметил. Продолжал задумчиво:

— Кто наукою целого рода интересуется, да еще такого рода, как восточного, тому заговорщические побрякушки ни к чему. Значит, не Восток у тебя на сердце, а одна юношеская глупость. Только для чего? В романтизмы играть? А вот Восток... России

Восток, ох, как знать надобно! А кто помогать ей в этом будет, как не ты? Ты ведь России должник за то, что она тебя таким искусным восточником сделала. Не криви, не криви лик! На Маслова кивать нечего да на Новосильцева с Розеном! Я о России говорю.

Перовский замолчал. Потом он поднялся — высокий, сутулый — и, забыв кальян, пошел к двери. Виткевич услышал, как губернатор вздохнул. Он шел медленно. Очень медленно, как будто дожидаясь чего-то.

«Сейчас он уйдет, и все будет кончено, — подумал Иван. — Все и навсегда».

— Василий Алексеевич, — сказал Виткевич чужим, скрипучим голосом, — выслушайте меня.

Перовский остановился и, не оборачиваясь, бросил:

— Говори. Слушаю я.

— Неужели вы, ваше превосходительство, могли хоть на один миг допустить мысль, что я действительно задумывал хоть одно из приписываемых мне злодеяний?

— А почему же нет? — оживился Перовский. — Почему нет?

— Вы ведь знаете меня...

— Да кто тебя разберет, — снова потухнув, ответил Перовский, — вон в глаза тебе смотришь, а там словно льдинки.

— То не моя вина.

Перовский обернулся.

— Почему ко мне не приехал, когда звал?

— Потому, что я видел рескрипт о моем аресте, вами подписанный: я не знал, как расценить это. То ли все, что было раньше, игра занимательная, то ли... Со мной в жизни достаточно наигрались. Даже смертный приговор играючи объявляли, для излишней острастки. Если вы знали уверенность души моей в том, что киргизы и афганцы братья наши, то как же вы могли подумать, что я бунт готовил, преследуя интересы одной лишь польской нации? Я бы стал готовить бунт, но не как поляк, а как человек, против несправедливости выступающий. Независимо от того, кто творит несправедливость: белый ли, желтый ли цветом кожи, католик ли, христианин иль мусульманин. Тиран в любом обличье тираном останется... А вы говорите — меня романтизмы привлекают... — Иван перевел дух. — Вы говорите, что теперь меня в Бухару пускать никак невозможно. Вывод для себя усматриваю: веры в меня нет. Чтобы к этому больше не возвращаться: я уже был в Бухаре. Попал там в руки английского

резидента. И убежал от него, хотя сначала в Англию пробраться хотел, а оттуда уже в Польшу, чтобы с несправедливостью бороться... Но в степях, среди людей, среди азиатов, которые нам неизвестны, которых я полюбил всем сердцем, потому что они чисты, как дети, и умны, словно старики, — там я впервые по-настоящему понял, что все люди — братья. Там я понял, что нельзя одну нацию другой противопоставлять, поднимать над другими. И в этом, убежден я, великое мое счастье. Я вернулся, горел мечтанием всего себя России отдать в том, что постигнуть сумел. Так нет же! У нас все в заговоры игры играют, а друзья наши английские тем временем на Востоке своими делами занимаются!

Виткевич, не замечая того, кричал, стоя во весь рост.

— Человеческому роду, — продолжал он, — свойственно изменяться с годами. Слава богу, вы меня от романтизмов от всяческих избавили, разрешив заниматься тем, о чем я мечтал. Вы вольны верить или нет — жизни мне своей не жаль, она и так уже довольно сломлена. Мне жаль дела моего, того дела, которое и вам важнейшим представляется. И делаю это дело я не потому, что особую пристрастность к письменам арабским имею. Я верю свято, что придет время, когда всевышний сведет все народы в великом братстве, в равенстве, в любви и согласии. И не будет тогда разницы между поляком и русским, киргизом и афганцем. Цель жизни моей — доказать, что люди Востока, к которым многие светские господа с барским пренебрежением относятся, что люди Востока — братья наши. Не образом мысли, так сердцем своим, человеческим сердцем.

Виткевич оборвал себя и закончил сухо, так как хотел сказать все:

— Еще раз считаю долгом повторить: вы вольны в своей вере.

7

Кживицкого привезли к губернатору пять жандармов с шашками наголо. Так возили только самых опасных преступников. Трое жандармов остались у дверей, а двое вошли вместе с Кживицким в кабинет.

Перовский был отменно любезен. Предложил садиться, осведомился о здоровье, повел веселый разговор. Все в лице губернатора дышало неподдельным весельем.

Кживицкий осмелел и спросил:

— Господин генерал, а за что меня в каземат?

Перовский рассмеялся:

— Будет вам, mon general...

— Кто?

— Перестаньте, генерал. Я прекрасно знаю, что вы считаетесь генералом у заговорщиков.

Кживицкий уставился на него, ничего не в состоянии понять.

— Будет, генерал, — продолжал сыпать словами Перовский. — Чтобы от себя отвести подозрения, бросаете нам кость, вернее — косточку: своего помощника Виткевича. Он во всем уже признался. Виткевич всего-навсего ваш помощник, генерал Кживицкий. Вся идея бунта — ваша идея. И двадцать тысяч серебром ведь вы передали Фоме Зану, а не Виткевич? И иглу тоже сделали сами, чтобы меня оною меж лопаток проткнуть...

Кживицкий затряс головой.

— Г-г-господин, г-господин...

— Будет, генерал, будет! — рявкнул Перовский. — Давайте без водевильных сцен!

Давайте говорить, как генерал с генералом. Так будет вас достойнее. Если вы согласитесь вести разговор начистоту, я обещаю вам почетную смерть. В противном случае — повешение.

— Да нет же! — закричал Кживицкий и, повалившись с кресла на колени, прерывающимся голосом, глотая слезы, поведал Перовскому всю правду.

"...А посему следственная комиссия, соображая дело сие, нашла, что хотя мещанин Стариков донес со слов рядового Майера о злоумышленном заговоре некоторых из поляков; но они в том не сознались и по исследованию комиссии не открылось никаких обстоятельств, относящихся к их обвинению, почему 26 ноября определила: всех содержащихся по сему делу, кроме доносителя рядового Кживицкого, из-под караула освободить и употребить по-прежнему на службу.

Аудитор Слапагузов".

Вечером Виткевич зашел к Далю. Распахнув дверь кабинета, он остановился словно вкопанный. Рядом с Далем, около маленькой

этажерки, сидел Пушкин. Позабыв все на свете, Виткевич бросился к поэту и с такой силой сжал его руку, что Александр Сергеевич даже поморщился от боли. Но в глазах у Ивана было столько счастья, что Пушкин, потеряв пальцы, улыбнулся и указал Виткевичу на стул рядом с собой.

Даль быстро ходил вдоль книжных полок и ловким, заученным движением доставал попеременно толстые фолианты и тоненькие томики. Книгу он держал осторожно и ласково на большой ладони. Даль знал все свои книги чуть не наизусть. Ивана изумляло его умение мгновенно отыскивать нужное место и, в который раз уже, очаровывала манера Даля читать найденное. Пушкин тоже заслушивался его чтением.

Глаза у поэта делались большими, испуганными, словно у ребенка, ожидающего конца знакомой ему страшной сказки.

Виткевич никак не мог прийти в себя после столь неожиданного знакомства. Даль читал без устали, рассказывал свое, сыпал народными, солеными шутками.

Когда принесли чай, Даль спросил:

— Хочешь вкусного вина, Саша?

Виткевич поразился этому простому и обыденному имени: «Саша». Но в устах Даля, обращенное к Пушкину, оно показалось Ивану особенным, совершенно новым, исполненным необычайной ласковости.

— Спасибо, Володя, — ответил Пушкин, — не хочу. В горле курлыхтает.

— Не курлыхтает, а кургыхтает, — поправил его Даль, — но это плохое слово, неинтересное. Оно от птиц идет и от кошек. А я отчего-то кошек любовью не жалую.

Пушкин почесал кончик носа — широкого, чуть загнутого книзу.

— Молчу, молчу, с тобой в этом — спору нет.

Сели пить чай. Пушкину понравились голубые прозрачного фарфора чашки. Ручки гнуты наподобие девичьего бедра, рисунок такой тонкий, что пить из них казалось кощунством. Пушкин глотнул чаю, обжегся, сердито нахмурился, высунул язык и долго студил его.

— Кожа теперь лезть будет, — огорченно заметил он, — страсть как неприятно.

— Надо сметаной помазать, — предложил Даль. — Или пятак приложить, — пошутил Пушкин, — словно к синяку.

Обернулся к Виткевичу и спросил:

— А вы, говорят, лучший в России знаток Востока?

— Да что вы, Александр Сергеевич! — изумился Виткевич.

— Знаток, знаток, — кивнул головой Даль, — самый настоящий...

Пушкин подвинулся к Ивану и спросил:

— А ночью в пустыне страшно?

— Ежели один — так не очень.

Пушкин недоуменно посмотрел на Даля.

— Что-то не понимаю. Как это, один — и не страшно?

— Когда бежишь от людей, так одному лучше, Александр Сергеевич.

— А вы убегали?

— Ненадолго.

— Почему же ненадолго? Если бежать — так навсегда. Верно, Володя?

— Не знаю, не бегал, — улыбнулся Даль, — лучше его спроси.

— Верно я говорю, Виткевич?

— Избави бог навсегда убегать, Александр Сергеевич. Тоска убьет.

— А в песках очень тоскливо?

Виткевич вдруг рассмеялся. Пушкин обиженно отодвинулся. Потом вдруг лицо его из обиженного сделалось озорным, веселым.

— Я ведь не бегал, не знаю. А узнать необычайно интересно. Профессия такая — узнавать... И потом невыдуманное всегда интереснее вымысла, пусть даже самого увлекательного. Единственное исключение — сказки. Но сказку выдумывает не литератор — народ. А то, что создает народ, всегда великолепно.

— Люди Востока очень любят сказки, Александр Сергеевич. Я и ваши сказки киргизам и узбекам рассказывал. И, знаете, огромным успехом сказки пользовались.

Пушкин гордо посмотрел на Даля. Тот с доброй улыбкой — на Виткевича. Все враз рассмеялись.

— Что-то я в Азии у вас развеселился, — сказал Пушкин, — тут ветры волею дышат. Здесь Россию с обратной стороны видно. Кому как, а мне она отсель милее, чем с фасадов невских. Я тут музыку во всем слышу... Скажите, Виткевич, — спросил он, помолчав, — а восточные сказки на наши похожи? В манере сказывать их, в сюжетах?

— Я могу рассказать некоторые, Александр Сергеевич. Если пожелаете...

Пушкин сразу же приготовился слушать. Закинул ногу на ногу, оперся подбородком на кулак, прищурил глаза.

— Я расскажу маленькие сказки, хикаяты, как их называют таджики, персы и афганцы.

— Это что, вроде наших пословиц? — спросил Пушкин.

— Не совсем. Вот послушайте. Пришел раз человек к писцу. «Напиши мне письмо», — попросил. «Не могу, — ответил писец, — у меня нога болит». — «Ты что ж, ногой пишешь?» — «Да нет! Но все, кому я пишу, требуют, чтобы я сам пришел и прочел, что написано».

Пушкин рассмеялся.

— Чудесно! Просто чудесно! Еще, пожалуйста.

— Сидел однажды поэт, бедный, как и все поэты, рядом с жирным богачом. Спросил богач поэта, желая унижить: «Скажи мне, что отделяет тебя от осла?» Поэт измерил расстояние между собою и богачом и ответил; «Совсем немного. Один аршин».

Пушкин вскочил со стула, захлопал в ладоши.

Виткевич рассказывал сказки часа два, не меньше.

— Скажите, — спросил Пушкин, вдоволь насмеявшись, — а стихи? Стихи у них так же интересны?

— Да. Если не больше.

— Прочитайте, прошу вас.

— Хорошо. Я прочту стихи афганского поэта Казем-хана.

Вы меня же толкали в костер,
Дав соперникам выжать меня,
И когда я вас вел на простор,
Вы хотели быть выше меня,
А когда я по вашей вине
Сам в огонь обратился в огне, -
Мотыльками слетаясь ко мне,
Ненавидите вы же меня!

— Боже мой, какая прелесть, — сказал Пушкин.

— Еще два стихотворения Казема, — улыбнулся Иван, обрадовавшись тому, что Пушкин так заинтересовался афганскими поэтами.

О Шейста! Разве мудрость трудна?
Научись ты у солнца любить!
Цель одна и дорога одна -
Все блужданья нам впору забыть.
И не льсти, о Шейста, никому,
Слава сердцу и слава уму,
Если учат они одному:
Научись ты у солнца любить!
Мудрецу не нужна мишура,
Не прельстился фольгой золотой!
Для невежды и кукла мудра,
И зовет он ее — Красотой.
Сколько горя глупец перенес,
Принимающий куклы всерьез!
А мудрец потому-то и рос -
Не прельстился фольгой золотой.

Пушкин вытер слезы. Он долго молчал и качал головой, не открывая глаз.

— Это творения гения, Виткевич. Как же мало мы знаем! И как много есть такого, что мы должны знать! Спасибо вам, Виткевич. Теперь я буду вас всю жизнь помнить и волноваться за вас. Нет, не только за вас лично — за то чудесное дело, которому вы отдаете жизнь. Я хочу вам дать совет. Мне кажется, что ваше будущее — это будущее дипломата. Опасайтесь, Виткевич, опасайтесь! Вами будут расплачиваться, словно звонкой монетой: «Смотрите, какие мы! Как наши дипломаты Восток знают!» Но вспомните Грибоедова — правители умеют делать политическую игру кровью людской. Не это главное. Главное, чтобы человек не был подобен планете. По-гречески слово «планета» означает «бродяга». Человек творчества должен всего себя посвятить только одному делу. В творчестве планетой быть нельзя: светит, а не греет. Труд возвышает людей, служба портит. Чиновником в искусстве быть — почет малый...

— Александр Сергеевич, но мне не удастся изучать язык афганцев, узбеков и киргизов, если я не буду хотя бы внешне служить. Ведь не пустят меня на Восток просто так, для науки, литературы, истории...

Пушкин вздохнул. Развел руками и с горькой усмешкой переглянулся с Далем.

— Да, пожалуй, вы правы. Меня вот тоже никуда не пускают. Никак не пускают. По головке гладят да нежности словесные расточают... Ладно, будет об этом. Я вас хочу попросить как можно больше сказок и стихов собрать. Для меня, для «Современника». А потом подумаем — издадим альманах стихов и сказок народов восточных. Великолепно это может получиться! А сейчас почитайте-ка мне еще афганцев...

Виткевич провожал Пушкина к дому губернатора, Ночь была темная, безлунная. Уже около самого дома Пушкин резко остановился, потянул Виткевича за рукав и прошептал ему в ухо:

— А если новый Пугач объявится, вы с ним пойдете?

— Пошел бы, — ответил Иван твердо.

Пушкин сморщил лоб, сухо, отрывисто бросил:

— Прощайте, Виткевич.

Потом он сжал руку Ивана повыше локтя, хотел что-то сказать, но не сказал. Ушел.

Растворился в ночи, как будто и не было его рядом.

9

Особенным уважением к Перовскому Иван проникся в тот день, когда, дежуря в приемной у губернатора, выполнил чисто техническую работу: написал под диктовку Василия Алексеевича обыкновенное письмо, вернее даже ответ на депешу от нижегородского военного губернатора Буторена. Перовский вскрыл пакет, молча прочитал письмо, чертыхнулся и передал Ивану лист бумаги.

— Прочти, Иван Викторыч.

Виткевич прочел:

"Господину Оренбургскому Военному Губернатору.

Санкт-Петербургский Обер-полицмейстер, от 20 минувшего сентября № 264 уведомил меня, что по Высочайше утвержденному положению Государственного Совета, объявленному предместнику его предписанием Г. Санкт-Петербургского Военного Генерал-Губернатора от 19 августа 1828 года № 211, был учрежден в Столице секретный полицейский надзор за образом жизни и поведением известного поэта, титулярного советника

Пушкина, который 14 сентября выбыл в имение его, состоящее в Нижегородской губернии.

Известясь, что он, Пушкин, намерен был отправиться, из здешней в Казанскую и Оренбургскую губернии, я долгом считаю о вышеписанном известить Ваше Превосходительство, покорнейше прося, в случае прибывания его в Оренбургскую губернию, учинить надлежащее распоряжение об учреждении, во время пребывания в оной, секретного полицейского надзора, за образом жизни и поведением его.

Военный губернатор Буторен".

— Каково? — спросил Перовский, когда Виткевич кончил читать. — Позорище истинное! Спрячь-ка бумагу эту подальше, чтоб потомки, спаси господи, не обнаружили ненароком... Бери перо, мы им сейчас отпишем.

Иван приготовился писать. Перовский походил по комнате, а потом выкрикнул:

- Пиши! Буторену!
- Просто Буторену?
- Просто так и пиши: Буторену!

"Буторену.

На отношение Вашего Пр-ва от 9 сего октября № 337 об учреждении секретного полицейского надзора за поведением и образом жизни Титулярного Советника Пушкина во время пребывания его в Оренбургской Губернии, честь имею ответить, что сие отношение Ваше получено мною через месяц по отбытии отсюда г-на Пушкина в свою деревню Нижегородской губернии, а потому, хотя во время кратковременного пребывания его в Оренбурге и не было за ним полицейского надзора, но как он останавливался в моем доме, то я тем лучше могу удовлетворить, что поездка его в Оренбургский край не имела другого предмета, кроме нужных ему исторических изысканий".

Когда Иван кончил писать, Перовский бегло просмотрел лист, буркнул под нос:

- С-сукины сыны!

Подписал размашисто, зло. Иван с улыбкой посмотрел на губернатора. Перовский рассердился:

— Не смотри так! Мне самому тошно; я русский, понимаешь? А на своего Гомера этикие штуки писать приходится. Неужто у всех Гомеров одна судьба — под надзором ходить?

10

Поздняя осень в Оренбурге полна грустного очарования. Густые перелески, саженные вдоль по Уралу, растеряв последнюю золотую листву, сделались прозрачными. Воздух в них был необычайно светлым из-за того, что намокшие стволы деревьев казались черно-синими.

Закаты разливались по низкому серому небу тяжело, кроваво. Лениво шумел мелкий дождь в водосточных трубах. По ночам вода в бочках подергивалась хрупким ледком.

Как никогда остро Иван переживал все прошедшие тяжкие годы в те вечера, когда заходил к Алябьеву. В прошлом блестящий гвардейский офицер, а ныне ссыльный, он жил в Оренбурге незаметно и тихо. Все дни Алябьев проводил за разбитым, древним роялем, крашенным белой масляной краской, для того чтобы скрыть трещины и царапины. Алябьев сочинял музыку.

По вечерам у него собирались друзья: Даль, Виткевич, преподаватель ботаники в Неплюевском кадетском корпусе ссыльный поляк Фома Зан, и — редко — наведывался Перовский. Приезжал он к Алябьеву примерно раза два в полгода. Садился около рояля, молча, тяжело слушал музыку и уезжал не прощаясь. После посещения композитора Перовский делался хмурым и дня три писал длинные письма, больше похожие на исповедь, своему брату-писателю, который прятал свою родовитую фамилию под незаметным псевдонимом «Погорелец».

...Алябьев любил петь. Голос у него был низкий, широкий. Он слегка картавил, стыдился этого и подчас глотал слова, где попадалась буква "р". Когда Алябьев пел, большие глаза его под толстыми стеклами очков делались блестящими, а зрачки расширялись, придавая глазам растерянное, испуганное выражение.

Соловей мой, соловей,
Голосистый соловей!

Ты куда, куда летишь,
Где всю ночь пропоешь?
Ты лети, мой соловей,
Хоть за тридевять земель,
Хоть за синие моря,
На чужие берега,
Побывай во всех странах,
В деревнях и городах:
Не найти тебе нигде
Горемышнее меня...

Даль, слушая Алябьева, не мог скрыть слез. Виткевич, обхватив голову, раскачивался в такт песне и шевелил губами, неслышно подпевая Алябьеву. Фома Зан, считавший музыку проявлением дворянской, шляхетской избалованности, просто-напросто наблюдал за всеми, всех любя и всем втайне поклоняясь.

В день осенний на груди
Крупный жемчуг потускнел,
В зимнюю ночь на руке
Распаялося кольцо,
А как нынешней весной
Разлюбил меня милой...

Кончив петь, Алябьев продолжал сидеть у рояля и долго не поднимал рук с клавишей, сохраняя тонкий, затухающий звук. Звук умирал неслышно, медленно, словно летний вечер, и так же красиво.

— Прав был страдалец, — задумчиво сказал Алябьев, — прав был, когда утверждал, что знающий русскую народную песню видит в ней скорбь душевную.

— Кто этот страдалец? — спросил Иван.

Алябьев не ответил.

— Радищев, — негромко сказал Даль, нахмурившись.

— Даль все знает, — усмехнулся Алябьев, — он умный, он счастливый, ему звезда светит, его губернатор любит.

Владимир Иванович поморщился, но смолчал: он знал, как тяжело Алябьеву, безвинно осужденному, всеми отвергнутому. Он

прощал Алябьеву грубости, так же как Перовский — Виткевичу.

— А мне, признаться, порой веселой песни хочется, — сказал Даль, желая изменить разговор, — осенью тяжелые песни грустно слушать.

— В России веселых песен нет, — заметил Алябьев. — Я вот тут намерен записывать новые песни — все, словно на подбор, грустны и раздумчивы. Спросил я тогда ту бабу, что мне их певала: «А веселей у тебя нету?» Она ответила: «Веселое с веселого поется. А у нас на свадьбу да на рождение то же, что и на смерть, поют. Оттого как жена да дите — камень на шее кормильцу. Коль нет в жизни веселого — так уж веселей ничего не выдумаешь...»

Алябьев обвел взглядом друзей. Рассмеялся. Запел:

Не осенний мелкий дождичек
Брызжет, брызжет сквозь туман,
Слезы горькие льет молодец,
На свой бархатный кафтан.
"Полно, брат, молодец!
Ты ведь не девица:
Пей, тоска пройдет,
Пей, пей! Тоска пройдет!"

Захлопнув крышку рояля, Алябьев поднялся с низенького, скрипучего стула.

Обернулся к Виткевичу и спросил:

— Иван Викторович, вы мне обещали новые киргизские песни перевести. Сделали?

— Да.

— Так же интересно, как и в прошлый раз?

— Да.

Фома Зан рассмеялся:

— Вот этого увлечения, Александр Александрович, я не понимаю. Виткевич бредит киргизами — сие понятно: ему другой судьбы нет, он себя Востоку посвятил. Но вы ж музыкант!

Алябьев ничего не ответил. Снял со стены гитару, прижался щекой к деке, тронул струны и запел:

О-о-о, длинный путь караван идет...
Много дней, много звезд позади,

Впереди лишь одни пески
И кругом лишь одни пески...
Сколько раз я мечтал о тебе,
О глазах твоих и руках,
Сколько дней я иду от тебя,
Чтоб прийти к тебе навсегда...

— Ну, разве не чудо, Зан? — вдруг, оборвав струну, спросил Алябьев. — Вот вам киргизы, вот вам Виткевич!

— Это очень красиво, — сказал Даль, — это изумительно!

— Сколько простора в этом, сколько грусти, ожидания! Сколь чутка душа певца, сложившего эти строки! — говорил Алябьев, сидя рядом с Иваном.

Виткевич счастливо улыбался: его понимали друзья.

Иван любил заходить к Алябьеву по утрам, когда тот, не умывшись, в халате, сидел за роялем, обрабатывая песни башкир, киргизов, таджиков. Виткевич любовался тем, как Алябьев находил в разрозненной, не сбитой в одно целое песне тонкую удивительную мелодию. Он ловил эту мелодию и заставлял ее звучать. И в песне, которую заново рождал композитор, Иван видел то, что ему довелось уже пережить, и чувствовал то, что пережить ему еще придется...

Глава третья

1

Обманчива здешняя погода. Вчера еще в теплом воздухе искрилась паутинка, словно прозрачная шаль на прекрасном лице поздней осени. А сегодня подул ветер и вместе с шальными красно-желтыми листьями принес снег, острый и колючий. И пошла сыпать белая пороша на потрескавшуюся от летней жары землю. Потом хлестнул последний дождь, прихватило морозцем, и на образовавшуюся ледяную корочку нанесло видимо-невидимо снегу, теперь уже пушистого, ласкового. Дорог вокруг Оренбурга больше не было. Повсюду лежало безмолвие, величавое и страшное.

Урал стал тоже внезапно. Вчера еще черный, стремительный, он нес свои воды к югу, пробиваясь среди белых степей. Когда Иван пришел к берегу — привычке своей он не изменял, ходил к Уралу каждое утро, — нигде не было ни полыньи: лед лежал ровно, белый как сахар.

Зима пришла в Оренбург, лихая, студеная.

На крещение казаки устраивали празднество: лов красной царевой рыбы. На Урале рубили лунки заблаговременно. Человек триста казаков — молодцы все на подбор — замирали в легких санях, метрах в трехстах от прорубей. Перед их строем прохаживался атаман с российским трехцветным флагом. Лошади нетерпеливо переступали с ноги на ногу, сдерживаемые седоками. Наконец атаман отходил к берегу, туда, где собирался весь Оренбург, поднимал флаг высоко над головой.

Казаки крестились. Атаман опускал руку, и триста саней, запряженных самыми резвыми по всему Уралу конями, срывались с места. Поднималось огромное белое облако снега. Кто первым прискачет к лунке, изловит красную рыбу, икру вырежет тот победителем считается. А победитель икру эту царю в подарок везет и самолично в монаршие руки вручает.

Гиканье, присвист, стремительность, свалка.

Веселье, смелость, лихость.

Россия...

Дымное, красно-алое солнце замерло в небе, наблюдая за людьми. Солнцу стало завидно, и оно простояло в зените лишних

две минуты.

Победителем оказался Петренко, отец Лушки. Его подвели к губернатору. Перовский осмотрел его кряжистую, от чрезмерной силы казавшуюся нескладной фигуру.

Перовский любил сильных людей и поэтому улыбнулся.

— Как зовут-то, Сила Силович?

— Трофимом Петровым Петренкой величают, — степенно ответил казак.

Память у Перовского была поразительная. Он сразу же вспомнил показания Кживицкого о Петренко. Губернатор нахмурился.

— Это Кживицкому Бонифацию не ты ль советы давал?

— А я! — так же степенно ответил казак.

— Как же ты советы этикие даешь?

— Так он слаб на силу-то. Я ему на ум и посоветовал. Пусть, думаю, выбьется с умом-то. А коли б он с силой был, так я ж разве стал...

Перовский поразился такому рассуждению.

— Как ты говоришь? — переспросил он Петренко.

Тот пояснил:

— Я пособленье хотел ему сделать. А он не только слабый. Дурной он. Тут уж моей вины нету.

Перовский засмеялся.

— Хитрый ты, казак!

— А что ж, — согласился Петренко. — Без хитрости только кукушка живет.

Губернатор обнял Петренко и поцеловал его в колючую щеку.

Когда казак отошел, Перовский обернулся к Виткевичу и спросил его:

— Ну не прелесть разве?

Иван согласился:

— Истинная прелесть, Василий Алексеевич.

Они рассмеялись, довольные тем, что поняли друг друга. Прощаясь с Виткевичем, Перовский сказал ему одну из своих загадочных фраз:

— По весне первопуток откроешь, а по осени посчитаемся.

Весь день Перовский был возбужден, чего-то ожидая. Часто он подходил к большому венецианскому окну, схваченному гусиными лапами мороза, и свирепо дул на стекло, плавя лед своим жарким дыханием. Хотя печи в кабинете были натоплены, Виткевич, который остался у губернатора по его просьбе, то и дело подходил к кафелю греть руки.

— А ты мерзляк, Иван Викторыч, — заметил Перовский, — сие странно. Сероглазые холода не боятся.

— Отчего так?

— Сказывают, кто сероглаз — у того будто льды в первооснове заложены. Холод. Это, верно, от варягов...

Лед на стеклах синел: наступал ранний зимний вечер. Перовский открыл маленькую форточку, и в кабинет ворвалась белая струя холодного пара.

— А ты заметил, Иван Викторыч, — задумчиво сказал Перовский, — что мороз болотом пахнет?

Виткевич улыбнулся. Ответил:

— Болото пахнет осенью, не зимней стужей, Василий Алексеевич.

Перовский шумно вздохнул.

— Может, ты и прав. Я прошлой осенью по гусям ездил. Тут недалече озерко одно изумительное, дичи — тьма. Один приехал — грустно было. Стал у берега. Камыши в рост, мохнатые, словно котятка. А как солнце в закат пошло, так камыши синими стали. Красота какая, Иван Викторыч... Сказочная красота... Стою жду косяка. И вдруг, — Перовский перешел на шепот, нахмурился, побычьи склонил голову, — и вдруг слышу, кто-то песню поет. Тихо эдак, издалече. Голос высокий, чистый.

Эх, в Таганроге случилась беда,
Там убили, там убили молодого казака,
Принакрыли, принакрыли чистым белым полотном.
Положили, положили под ракитовым кустом...

Слуха у губернатора не было, и поэтому, спев, он застыдился. Но, как всякий лишенный музыкального слуха человек, Перовский особенно остро воспринимал прелесть песни.

Лед на окнах из синего сделался белым: наступила ночь.

— Выглянул я из камышей, — продолжал Перовский, — гляжу, казак по степи едет. Стройный, без папахи, ружье на весу держит и поет. Да такой красавец-глаз не отвести. Много в России красивых, а такого я впервой увидал.

Перовский подошел к окну, подул на лед. Словно по волшебству, в тот же миг у парадного подъезда зазвенели полозья.

— Приехал! — крикнул обрадованно губернатор. — Приехал, дорогой мой!

Он перехватил удивленный взгляд Ивана. Рассмеялся.

— Да казак тот! Миротворцев его зовут. Полковник Миротворцев. Пойдем встречать.

Радовался Перовский шумно и грубо. Он тискал Миротворцева в объятьях, отстранял от себя, внимательно разглядывал, снова обнимал и хохотал громовым басом.

Полковник Миротворцев оказался маленьким и, как показалось Ивану, нескладным человеком. Слишком широкий в плечах, он был по-девичьи тонок в талии, но толстоног. Большая лысина блестела, словно блюдце, слишком тяжелый лоб нависал над бровями и давил глаза.

«Что же в нем красивого губернатор увидел? — удивленно подумал Иван, чувствуя сильное пожатие маленькой сухой руки Миротворцева. — Какой уж тут красавец...»

Перовский словно угадал его мысли. Ухмыльнулся под нос и сказал, ни к кому не обращаясь:

— Прав был Фридрих прусский, утверждая: «Ежели хочешь иметь рабов — пой хорошие песни».

Миротворцев кашлянул, внимательно посмотрел в Ивановы глаза, потом — мельком — на Перовского и улыбнулся краешком большого жадного рта.

После этой улыбки Иван сразу же почувствовал к нему расположение: умных и тонких людей он любил.

У губернатора сидели допоздна. Камердинер принес самовар и большую банку малинового варенья. Малина мерцала рубинами, искрилась за стеклом в бликах свечей. Перовский сам разлил чай и начал пить с присвистом, по-купечески.

— Обожаю чай, — сказал он после третьей чашки, — сердце бодрит, брюхо чистит — куда больше!

Миротворцев пил сосредоточенно, хмуря брови, собирая язык в лопаточку и приговаривая: «Аля-фффу, аля-фффу», когда обжигался.

Губернатор все время подкладывал в блюдца варенье. Орудовал он большой деревянной ложкой, разрисованной петухами.

— Не люблю из маленьких блюдец есть, — говорил Перовский, — аппетит пропадает, плечом размахнуть нельзя. А пища любит, чтоб с размахом. Нессельрод — тот вроде воробушка — «чир-чирк» — из крохотных тарелочек угощает. Сие от жадности, не иначе.

Кончив пить чай, Перовский с шумом отодвинул от себя блюдце, чашку и банку с вареньем. Сцепил пальцы. Сказал:

— Ну давай, полковник, план свой выкладывай.

— Куда проще, ваше превосходительство. В степь надобно визит нанести. Ласки там, правда, ждать не след — скорее по макушке надают. Однако резон прямой.

Перовский кивнул на Виткевича:

— С ним не надают.

— Великолепно, коль так, — ответил Миротворцев, — а ежели по случаю и надают, тоже неплохо. На пользу пойдет. С шишкой на загровке учеба скорей движется. Ну, а цель экспедиции проста.

Он обернулся к Виткевичу и, глядя на него в упор, стал негромко говорить:

— У меня, изволите ли видеть, брат мануфактуру в Иваново-Вознесенске хочет ставить, ситцы на английский манер выпускать. Ходил я в караван-сарай здешние, беседовал с восточными купцами. Прелюбопытнейшие вещи узнал-с.

Миротворцев достал из кармана маленькую тетрадку. Она была самодельная, почти такая, как и у Ивана. Виткевичу это понравилось.

— Так вот, — весело посматривая то на Ивана, то на Перовского, быстро заговорил полковник, — мы кусок кисеи бухарцам за пятьдесят рублей серебром даем, а англичане — за восемь. За коленкор мы по двадцать семь рублей лупим, а англичане трешку просят. Поведал мне бухарец Рахимбай, что у них в столице некий англичанин побывал. Не то Борнес, не то Баренс.

— Бернс, — поправил его Виткевич.

— Это доподлинно вам известно? — невзначай, как бы между прочим поинтересовался Миротворцев. — Не ошибаетесь ли?

— Нет. Не ошибаюсь.

— Так-с. — Миротворцев посмотрел на стол.

Перовский понял его и подвинул перо. Полковник что-то отметил в своей книжечке и продолжал:

— Так вот, извольте ли видеть, после посещения господина Бернса англичане стали в Бухарию и Хиву посылать ситцы новых расцветок. Яркие, веселые, вширь — громаднейшие, чтобы восточным людям было удобней брюки шить. Братец мой только из Англии возвратился, сказывал — на мануфактурах все прежние машины поломали, новые поставили, чтоб ситчик ярче был да шире. Затраты преогромные. А с умом — из этого дерьмового ситца не один пуд золота получить можно.

— Лихо, — задумчиво отозвался Перовский. Миротворцев захлопнул книжечку, сунул ее небрежно в карман.

— Англичане — нация уважаемая. Аристократы наши к ним с ухмылочкой относятся, а зря. Как бы ошибку французов не повторили. Те тоже над торгашами посмеивались, «ля-ля» да и только. Вот те и «ля-ля»! Допрыгались. Петр Великий перед англичанами шапку ломал — нам тоже не грех. Я из мещан, не гордый — готов у заморских мудрецов поучиться. А там посмотрим, кто кого перешибет.

Виткевич взглянул на Перовского.

«Вот так персона», — прочел губернатор в его взгляде, и трудно было понять, какой смысл вкладывал сюда Виткевич: восторг, недоумение, растерянность или все это вместе взятое.

— Послушай, Миротворцев, — вдруг спросил Перовский, — а ты богатый?

— Мы не считаем-с.

— Зря.

— Нет, не зря, ваше превосходительство, — убежденно ответил Миротворцев, — без счету спокойней. Да потом не в деньгах суть. Я о деле думаю. Ну, а дело, коли к нему с уважением да с умом подойти, никак обидеть не может.

— Это верно.

— Так вот, ежели ваше превосходительство мой план одобряет и санкцию на путешествие я получу, в степях должно будет подумать и еще об одном преважном дельце.

— Что это ты все «преважное» да «прелюбопытное» говоришь? Проще не можешь?

— Я крайности люблю, ваше превосходительство. Правда, на словах больше, чем на деле. Словом потешиться можно, а делом — рискованно. Вот и тешусь.

Виткевич рассмеялся.

— Преинтересно, — хохотнул Перовский и замотал головой. — Тьфу ты, напасть, пристало уж!

— А дело вот какое, — гнул свое Миротворцев, — хочу посмотреть, нельзя ль у Киргизии стада закупать. Тогда в Оренбурге есть резон заводик поставить. Полушубки начнем кроить. Тут мы англичан обскочим — куда там! Здесь поту надо много, а британец поту не любит.

Перовский прошелся по комнате.

— Прожектами ты силен, просто богатырь на прожекты. Каков в степях будешь? Сможешь с умыслом смотреть иль нет?

— Так господин Виткевич поможет, — весело отозвался Миротворцев и вытер пот со лба ладонью. — Да и подарков я закупил для их.

— Уж закупил?

— Не пропадут.

— Ну, а коли я тебя в степь не пущу?

Миротворцев осторожно кашлянул, погладил подбородок и ответил:

— Пустите, ваше превосходительство.

Когда полковник откланялся, Перовский сказал:

— Вот они Россию жрать будут. Немилосердно. Но умен. Умен, бестия! Выбился ведь в полковники из косоглазого домишки. Не гляди, что прост: по-английски, словно Дизраэли, говорит, все британские газеты выписывает. И силен. Брат его — ширма. Сейчас военному торговать сподручней. Хоть военный он по недоразумению. Торгаш он по склонности, вот кто. А призвание его, поверь мне, дипломатом быть. Только Карл Васильевич Нессельрод не хочет его, потому что умных боится. А зря! Такие — дай им свободы — свое возьмут.

Губернатор задумался. Потом Виткевичу — весело:

— Сходи с ним, Иван Викторыч, зааркань киргизов! Ну, ну, не сердись, будет! Изучать их пойдешь, а Миротворцеву подсобишь. Он человек добрый, хороший, хоть и торгаш. Но ведь не дерево и не камень — идола, а то, во что верит человек. Будь то дух, будь то плоть. Будь то «дело», о котором он здесь разглагольствовал. Дело боготворить можно. Смысл-то уж больно хорош сюда подложен, а?

В небе повисла дынная долька месяца. Высокие облака то принимались бежать наперегонки, то вдруг останавливались, замирали на месте.

Глядя в черную яму неба, Миротворцев сказал, усмехнувшись:

— Я б сейчас горячего молока с медом выпил.

— Отчего так? — лениво удивился Виткевич.

— Хочется, — снова усмехнувшись, ответил Миротворцев. — Мне всегда чего-либо несбыточного хочется.

Тесно прижавшись друг к другу, они лежали на шинели у костра, сложенного из сухих, трескучих шаров перекасти-поля и стеблей полыни, иссушенных нещадным дневным солнцем. Пламя казалось Ивану кошкой. Оно то ластилось к земле, то, побелев, взмахивало вверх, стреляя мелкими искрами.

Миротворцев лежал ближе к костру и часто ворочался с боку на бок. Ночной холод он переносил так же плохо, как и дневную жару, но, несмотря на это, шел со всеми членами экспедиции вровень, ни разу не отстав. Отряд прошел уже больше четырехсот верст. Задерживал всех Иван: с каждым племенем, встречавшимся на пути, он заводил знакомство, подолгу беседовал со стариками, знакомился с юношами, расспрашивал о Сарчермаке, записывал сказки, стихи и, в свою очередь, отвечал на вопросы. Потом все шли на той^[11], садились в круг и принимались за барана. К ужасу Миротворцева, Иван, как и кочевники, ковырял пальцами в бараньей голове, разжижая мозг, и пил его с видимым наслаждением, запрокинув голову. Так же аппетитно он поедал бараний язык. Со временем, правда, и полковник пристрастился к киргизским обедам. Ему нравилось, когда старейшина племени протягивал Ивану баранье сердце, чтобы тот стал сильнее, голову, чтобы был умнее, и глаза, чтобы стал зорче. Однажды Миротворцев попросил Виткевича перевести старикам вопрос: как же человек может стать сильнее, умнее и зорче от потрохов бараньих? Животина-то, баран, ни особым мужеством, ни зоркостью, ни силой не отличается. А?

Иван рассердился. Вопросы переводить не стал. Ответил сам:

— У каждого свой символ. Мне их символ ближе, чем ваш.

— Так, так, — быстро согласился Миротворцев, — верно-с, совершенно верно, Иван Викторович. Только сердиться зря изволите. Вопрос не утверждение. На вопрос сердиться не следует.

Виткевича всегда поражало в этом человеке умение хватать главное, отметить личные обиды, сразу же признавать свои промахи и не обижаться, когда умный ответ давали в резкой, подчас даже

непочтительной форме. Хотя Иванову непочтительность терпел не только один Миротворцев. Даже губернатор, как говаривали, прощал своему адъютанту многое такое, что никому другому никогда бы не простилось.

Костёр забился, захлопал красными своими крыльями, собираясь потухнуть. Иван поднялся на локтях, но сразу же как подкошенный рухнул на шинель: отлежал левую руку.

— Давайте потру, — предложил Миротворцев.

— Спасибо большое, — ответил Иван и протянул ему руку.

Миротворцев ухватил ее цепкими пальцами у плеча и принялся так старательно тереть, что через минуту все плечо Ивана стало горячим.

— Отошло?

— Спасибо большое, Иван Никодимович, — поблагодарил Виткевич, — совсем отошло.

Он поднялся, шагнул в темноту и, опустившись на корточки, принялся собирать полынь и колючие кружки перекасти-поля.

— Иван Викторыч! — негромко откликнул его Миротворцев.

— Да.

— Как это вам не страшно в такую темнотищу ходить? Я, извольте ли видеть, никак бы не решился.

Иван засмеялся.

— Нет, не смейтесь, — возразил Миротворцев, — я вами истинно восторгаюсь. В такую темень...

— Это что, главное достоинство мое? — спросил Иван.

Миротворцев обернулся на его голос.

— Кто темноты не боится, — сказал он, — тот отчаянный. Это я по брату моему сужу. Он лихой у меня, а вот я как ночью иду, так мне все дьяволы какие-то мерещатся. Между нами-то, ведь я трус отчаянный...

Казаки спали. Верблюды, развьюченные на ночь, целовали землю плюшевыми губами. Тишина была осязаема: даже потрескивание костра казалось грохотом. Иван принес охапку полыни и бросил ее подле шинели, на которой лежал Миротворцев. Тот зевнул и укрылся с головой клетчатый английский пледом. Спросил:

— Как думаете, сколько нам еще до дома?

— Дней пять, — ответил Иван, — никак не больше.

— Слава богу, а то я затосковал.

Виткевич подбросил в костер полыни, лег рядом с Миротворцевым и уснул. Полковник еще долго ворочался. Удивлялся: «Виткевич в степи себя чувствует как дома на кровати. Чудно... Молодец он все-таки. Истинный молодец!...»

Потом он еще теснее прижался к Ивану и тоже задремал.

Разбудили их гортанные крики и ржанье коней. Миротворцев открыл глаза в один миг с Иваном. Вокруг потухшего костра в серых предрассветных сумерках они увидели несколько десятков всадников. Те рвали уздечки, осаживая взмыленных коней.

— Чего надо?! — вскочив, закричал Миротворцев, и скулы у него набухли грецкими орехами.

Виткевич больно толкнул его в бок, выступил вперед, склонил голову, прижал руки к груди и сказал:

— Салам, всадники, пусть будут благословенны дни вашей жизни, и пусть дневная жара не мешает вам продолжать свой трудный путь...

Миротворцев понял свою ошибку. Улыбнулся и закивал головой. Казаки стояли чуть поодаль, сбившись в одну кучу. Их ружья лежали в стороне, у выюков. Видно, киргизы уже успели оттащить их.

В середину круга выехал молодой киргиз. Лицо у него подергивалось тиком. Не отвечая на приветствие, он ударил Ивана нагайкой по лицу. Резкая боль пилой прошла по щеке. Из рассеченного уха закапала кровь.

Миротворцев рванулся вперед, ощерился:

— Сволочь, свинья!

Он выхватил из-за пояса пистолет, вскинул к глазу. Секунда — и свершилось бы непоправимое. Иван выбил у него из рук оружие и улыбнулся тому, кто его ударил.

— Однако, уважаемый всадник, ты плохой мусульманин, как я посмотрю, — сказал он, — ты бьешь, даже не ответив на приветствие. И ты бьешь меня в своем доме, потому что эти степи — твой дом, а не мой. Я здесь гость, а ты хозяин. В середину выехал киргиз постарше.

— Прости его, — сказал он, — но когда уходит вода, не время приветствовать того, кто ее взял.

— Ты говоришь загадкой, — все так же спокойно продолжал Иван.

— У нас в селенье была вода. Она была из земли много лет. А пять дней назад она ушла, как будто ее и не было. Воды нет, и те

посевы, которые мы научились растить совсем недавно, сейчас сохнут. Вчера от нас ушли путники из Индии. Они узнали, что в степях вы, и сказали, что вода пропала из-за вас.

— А ну, Иван Викторыч, — быстро сказал Миротворцев, — переведите им, что я верну воду. Я могу им вернуть воду.

— Шутить сейчас не время, Иван Никодимович.

— Не до шуток, сам вижу.

— Может быть, так договоримся.

— Нет, — уверенно возразил Миротворцев, — сейчас никак не договоримся. Перебьют, да и точка.

— Что он говорит?! — закричал молодой, тот, кто ударил Ивана. — Что он говорит?!

Иван медлил, не зная, стоит ли сказать, что Миротворцев обещал найти воду.

Молодой всадник пустил коня на Миротворцева и замахнулся нагайкой.

— Опустит руку, мальчишка! — крикнул Иван. — Не позорь свой народ!

Стало тихо. Все замерли. Потом из толпы всадников кто-то сказал:

— Опустит руку, Селим.

— Мы вернем вам воду, — негромко, спокойно сказал Иван, — сейчас поедим к вам и вернем воду.

Всадники зашумели.

— Иван Никодимович, здесь хитрость негожа, — еще раз предупредил Иван.

— Ах, боже мой, — рассерженно ответил Миротворцев, — при чем тут хитрость? Я ж в этих краях землей обзавожусь. Без воды здешняя земля — ничто. Я родниками и ключами специально интересовался. Песок — он зыбуч, видно, ключ себе второй ход нашел неподалеку где-нибудь. Отыщем, не беспокойтесь.

Когда, окруженные киргизами, они тронулись в путь, Виткевич усмехнулся.

— А вы говорили, что трус. Какой же вы трус, Иван Никодимович? Вы человек храбрый.

— Это с перепугу, — весело ответил тот, — да и потом ночь-то кончилась. А я ночи до смерти боюсь, днем все веселей.

На востоке степь алела тысячами ярких костров. Небо синело, уходя все выше и выше к лунной дольке, которая с каждой минутой таяла, превращаясь в воздух.

Старейшина племени Абд-Эль Саул — худой, высокий старик с желтыми усами и плешью на левой щеке — оглядел Виткевича и Миротворцева с головы до ног злыми разноцветными глазами. Левый глаз у него был зеленый, словно у кошки, а правый — иссян — черный.

Хриплым, высоким голосом он выкрикнул приветствие и, не дожидаясь ответа, спросил:

— Где вода?

Иван улыбнулся. Достал трубку, высек искру, затянулся несколько раз, а уже потом ответил:

— Я буду говорить с тобой словами сказки, ладно? Смысл ее прост, и в нем ты найдешь часть ответа на свой вопрос. Слушай же. Послал орел осу и ласточку узнать, что на земле самое вкусное. Всех оса пережала, всем боль принесла и решила, что самое вкусное на земле — человек. Друг людей, острокрылая ласточка, выклевала за это осиный язык — сухое, острое жало. И с тех пор оса только жужжит, не в силах вымолвить ни слова. А ласточка, прилетев к орлу, сказала ему так: «Самое вкусное на земле — цветочный мед и вода в горных реках. Но если ты хочешь мяса — жри змей, они злобны, лживы, коварны, и смерть их может огорчить разве только одних неверных».

Виткевич кашлянул и замолчал. Абд-Эль Сауд перестал щуриться, опустил глаза к ногам и чуть заметно улыбнулся. Сначала смех прятался у него где-то в горле, под кадыком, но потом вырвался наружу: старейшина захохотал. Засмеялись и окружавшие его. Только Миротворцев, не понявший ни слова, удивленно смотрел то на Сауда, то на Ивана, то на своих конвоиров.

Отерев слезы, старейшина кинул под язык катышек зеленого табака и, ловко подломив ноги, опустился на землю. Покачал головой, снова отер пальцами под глазами и спросил Ивана:

— Где твои крылья, ласточка? Да и по тебе не видно, чтобы ты одним цветочным медом питался.

— Мы же не сидели с тобой у одного костра, — возразил Иван, — ты не знаешь моей пищи, так же и я твоя.

Абд-Эль Сауд обернулся к маленькому старику, по-видимому его помощнику и доверенному.

— Пусть Ваззах заколет барана, — попросил он.

Почти не разжимая рта, Виткевич сказал Миротворцеву:

- Вроде все в порядке; сейчас будет завтрак.
— Ты что сказал ему? — строго спросил Абд-Эль Сауд.
— Я сказал своему другу то же, что ты сказал своему.
— А...

Помолчали. Старейшина выплюнул табак, закашлялся. Кашлял он надрывно и долго, по-видимому для того, чтобы выиграть время и лучше понять своих собеседников.

— Судя по твоей сказке, — промолвил он наконец, — у осы теперь нет жала?

— На свете не так много ласточек, чтобы выклевать все осиные жала, — ответил Иван.

— Ладно. Я понял то, что мне надо было понять, — ответил старейшина, — пусть ос много, пусть ласточек мало. Пусть. Но где же наша вода?

— Воду мы вам вернем. Только бы нам повстречаться с теми осами...

— Поздно. Они улетели. Сейчас их не догнать. Кто они, эти осы, сказать трудно, но догадаться можно. Они не нашей веры. Они вашей веры. Рисунок на том ружье, которое они мне подарили, — интересный рисунок, и среди фигур, сделанных на серебре рукой мастера, есть фигура женщины — греховного создателя.

Абд-Эль Сайд обернулся к маленькому старику. Тот сразу же понял взгляд старейшины и пошел в ближайшую юрту. Он вернулся, держа в руке большое красивое ружье. Миротворцев принял его из рук Абд-Эль Сауда, быстро осмотрел и широко улыбнулся Виткевичу.

— Ну, что я говорил?

Он ткнул пальцем в серебряную планочку, на которой были выгравированы три слова: «Made in England».

Узкое поле, стиснутое громадными спинами желтых скал, было скорее похоже на пересохшее русло реки, нежели на такое поле, которое привыкли видеть россияне.

Только земля здесь резко отличалась по цвету от всего окружающего. Черная, жирная, она казалась островком здесь, в царстве желтых скал, серых кустарников и белого неба.

Миротворцев стал на колени и принялся руками рыть яму прямо посреди поля. Рыл он недолго: вскоре пальцы уперлись в каменную плиту.

— О, черти! — сказал Миротворцев восхищенно. — Земля-то приносная, нездешняя. Они поле сами на камнях сделали.

Иван недоверчиво покачал головой. Миротворцев рассердился.

— Вы, изволите ли видеть, восточник блестящий, тут с вами спора нет, но в землице я получше вашего разбираюсь. Да вы у них спросите, так-то верней будет.

Иван спросил. Абд-Эль Сауд сощурился и сделал вид, что вопроса не расслышал. Иван повторил еще раз. Тогда старейшина улыбнулся:

— Твой друг говорит верно. Мы взяли немножечко земли из-под Оренбурга, когда ходили к вам с караваном. Совсем немного взяли, вас не обидели. А себе, видишь, поле какое насыпали... Ты только не сердись — у вас земли много. Если вам камень нужен — берите в наших горах сколько возьмете, не жаль.

Когда Иван перевел слова старейшины Миротворцеву, тот поднялся с колен и поцеловал Абд-Эль Сауда в губы.

— Люблю, когда дело хорошо делают, — сказал Миротворцев Ивану, — просто слеза прошибает, ежели настоящий труд вижу. Я до труда жаден и уважителен.

Вдруг, сразу посерьезнев, Миротворцев попросил Виткевича:

— Спросите-ка у них, Иван Викторыч, почем барана они торгуют?

Абд-Эль Сауд рассердился:

— Не утерев слез, спрашивать о цене скота — так только ваши люди могут.

— Ну ладно, — виновато улыбнулся Миротворцев, — сейчас ключ отыщем, тогда и спросите, а то и впрямь неловко вышло.

Ключ оказался хитрым, как англичанин. Миротворцев мучался целый день, исходил склоны гор, залезал под каждый камень, но воды как не бывало. На глазах поле из черного сделалось сначала желто-серым, а потом пепельным.

Мир, установившийся между экспедицией и киргизами благодаря выдержке и такту Ивана, грозил вот-вот смениться взрывом вражды: обещанной воды до сих пор не было. К тому же зной стал еще более сухим, и Абд-Эль Сауд ощущал его не только телом, привыкшим к подобной жаре, но и разумом, пониманием того, что с каждым часом все меньше и меньше оставалось возможности сохранить посевы.

Сначала Миротворцев шутил, хитро подмигивал насупившемуся Абд-Эль Сауду, потом шутить перестал, только изредка улыбался и успокаивающе кивал головой хмурым киргизам, которые не отходили от него ни на шаг.

С тех пор как начались поиски, прошло часов восемь.

— Я уже начинаю сомневаться, — сказал старейшина Виткевичу, — кто оса, а кто ласточка. Ты растолкуй это своему другу. Если до завтрашнего утра воды не будет — я знаю, что нам надо делать.

Когда Виткевич перевел эти слова Миротворцеву, тот заметался по полю и по склонам гор, словно гончая, безнадежно потерявшая след русака.

— Сукины дети, ни черта не понимаю, — выругался полковник и растерянно посмотрел на Ивана. Виткевич видел его таким впервые.

— Скажите, — спросил Иван, — а можно ли искусственно остановить ключ?

Миротворцев досадливо поморщился:

— Опять вы свое гнете, Иван Викторыч. Знаю я англичан, знаю, на что они способны, да только ключ у киргизов забирать — не их дело, поверьте.

— Вы знаете англичан по Англии, а я знаю их по Азии. Это большая разница.

— Ерунда, — махнул рукой Миротворцев и начал хлопать себя по карманам, разыскивая кисет с табаком.

— Старейшина, скажи мне, — обратился Иван к Абд-Эль Сауду, — а вода пропала после того, как улетели осы, или при них?

— Нет, — ответил Абд-Эль Сауд, — они ушли вечером и сказали, что вода пропадет утром, оттого что здесь поблизости вы. И утром вода пропала.

— А ну, коней! — закричал Виткевич и оскалился в холодной, не его усмешке, — Они хитры, а мы тоже не лыком шиты...

После часа бешеной скачки по крутым горным тропам Виткевич остановил коня. Скакавшие следом за ним всадники закричали злыми голосами, сдерживая красноглазых лошадей, покрытых стружками белой мыльной пены.

— Куда они пошли отсюда? — спросил Иван.

— Сверни влево. Они шли по той тропе.

Конь выкатил глаза, захрипел, повернулся, став на задние ноги и, прищипоренный Иваном, понесся вперед, упрямо согнув голову.

Маленький ручеек, уходивший в гору, — исток ключа — был перекопан, засыпан камнями, а вода сворачивала и шла по другому каналу, тоже выкопанному совсем недавно. Когда всадники спешили и раскидали камни, загораживавшие ход воде, когда они

засыпали только что вырытый арык, ручеек в растерянности заметался, а потом кинулся по старому руслу и сразу же исчез под горой.

Всадники вернулись в селенье поздно ночью. Встретил их веселый говор, песни, крики женщин, которые тащили к кострам муку, чтобы печь лепешки, визг малышей, катавшихся верхом на маленьких жеребятах. Всадников встретила жизнь, которая всего час тому назад была на грани гибели. Поле из пепельного вновь становилось черным, жирным. Из ключа била вода — жизнь пустыни.

Поздно ночью, уже после праздничного обеда, Абд-Эль Сауд сказал Виткевичу:

— Ну-ка, сын, переведи своему другу, что стадо баранов стоит у нас десять рупий в серебре. Но ему я отдам десять стад по пяти рупий за каждое. Если он умеет торговать — скажи, что отныне я буду ходить с караванами и стадами только в Оренбург. А к тем, из Индии, — они тоже звали меня и тоже спрашивали о цене барана — я ходить не буду. Ни я, ни кто другой из наших степей не пойдет к ним, потому что их хитрость — кровавая хитрость.

Когда Иван перевел слова старейшины Миротворцеву, тот даже задохнулся от волнения. Он сбегал к казакам, достал из тюков два ружья, огромный отрез ситца, два зеркала и все это положил к ногам Абд-Эль Сауда. Старейшина поблагодарил Миротворцева и посмотрел на себя в зеркало. Рассмеялся.

— Еще раз спасибо тебе, друг, только эту штуку заведи обратно.

— Почему? — удивился Миротворцев.

— А потому, что если люди племени увидят меня таким, каким я увидел себя в вашем блестящем озере, они перестанут уважать меня. Разве можно уважать людей с плешью на бороде?

Миротворцев решил польстить старику и попросил Ивана перевести:

— Надо, чтобы сердце не было плешивым, тогда плешь в бороде не страшна.

— Умный ты человек, — ответил Абд-Эль Сауд и с сожалением посмотрел на Миротворцева, — а таких простых вещей понять не можешь: в сердце-то плеша не видно, а на лице она словно монета.

Зеркала старик так и не взял. Прощаясь, он снова пообещал Миротворцеву, что осенью приведет в Оренбург много караванов на торговый двор.

Когда Иван остался вдвоем с Миротворцевым, полковник попросил:

— Взгляните, Иван Викторыч, я здорово поседел?

— Да вроде нет, — засмеялся Иван.

— Вы не смейтесь, друг мой, — устало произнес Миротворцев, стягивая с себя сюртук, — мне сегодня не до смеха было. Перетрусил я отчаянно. Спасибо вам — спасли.

Он лег на свой плед, вытянулся, хрустнул пальцами.

— Все. Вернусь в Оренбург — и в отставку. Один раз для дела рискнуть — хорошо. Два — глупо. Давайте-ка и вы, Иван Викторыч, в отставочку, а? Я добьюсь для вас. И — ко мне, Востоком командовать...

— Нет, Иван Никодимович, я в торговцы не гожусь.

— Годитесь. Вы зоркий.

— Нет, спасибо еще раз, только я здесь останусь, в Оренбурге.

— Ничего не понимаю, — сказал Миротворцев, зевнув, — особенный вы какой-то человек. Ну, да бог с вами, спокойной ночи.

Засыпая, он пробормотал:

— Ах, британцы, сукины дети!...

Назавтра экспедиция Миротворцева отправилась в Оренбург.

Из отчета Оренбургского генерал-губернатора за 1835 год:

«...Между тем справедливость требует сказать, что прикомандированный к отряду полковника Миротворцева, ушедшему на исследование степей, прапорщик Виткевич, вполне освоивший себе язык и обычаи киргизов и в течение десятилетнего пребывания в краю коротко спознавшийся со свойствами и потребностями этого народа, весьма много способствовал к достижению желаемого убеждениями и личным объяснением с... народом», — так писал Василий Алексеевич Перовский о том, что сделал Виткевич во время экспедиции в степи.

5

Перовский был смелый политик. Он отдавал себе отчет в том, что Бухара и Хива в современных условиях не могут существовать так, как они существовали раньше: суверенными ханствами, замкнувшимися за каменными стенами и песками пустынь, где

отдых, работа, любовь и даже сон определялись не склонностями и желаниями человека, но догматом мусульманской религии и волей ханов, наместников Мухаммеда на земле.

Время шло, бурно развивалась английская текстильная промышленность, а российская пыталась, в чем возможно, догнать ее. Индийский рынок удовлетворял англичан, но среднеазиатские ханства были словно бельмо на глазу, словно пустое место за прилавком рынка. А природа пустоты не терпит, место должно быть занято. Или британцами или русскими. Другого выхода не было.

Дерзкие акции англичан в Средней Азии не проходили мимо зорких глаз оренбургского генерал-губернатора. И если Иван Виткевич мыслил свою поездку в Азию как просветительную и научную, как посильную помощь киргизам и узбекам в их национальном становлении, то Перовский думал значительно дальше, а потому суровее. Дальновидность всегда сурова и не терпит никаких недоговоренностей.

Перовский, мысливший категориями государственными, в душе отрицал Ивановы романтические, как ему казалось, планы. Но, будучи человеком умным, добрым и тонким, он за то время, пока Виткевич работал при нем, сумел изучить своего помощника и прийти к выводу, что в отношениях с ним нельзя рубить сплеча.

Перовский прочил Ивану блестящее будущее ученого: лингвиста, историка и географа. Он называл его будущим «российским Гумбольдтом».

Поэтому, вызвав Виткевича для беседы об экспедиции в Бухару, которая давно уже назрела, а теперь, после последних акций англичан, стала попросту необходимой, Перовский ни в коей мере не хотел ему дать понять, каковы истинные ее цели. О предстоящем походе в Бухару Перовский думал часто, но никого, ни одной живой души в помыслы не посвящал.

Посмеиваясь, поглаживая себя по животу, затянутому корсетом, — Перовский очень следил за фигурой, — губернатор шурился, весело посматривал на Ивана и молчал.

Виткевич тоже молчал и тоже весело шурился.

Потом Перовский остановился около стола, достал из ящика лист бумаги и, небрежно бросив его перед собой, закрыл ладонью.

— Танцуй, Иван Викторыч, — сказал он.

— Не учен, ваше превосходительство.

— А ты русского... Тут учебы не надобно: ногами шаркай да руками маши.

Не поднимаясь со стула, Иван два раза неуклюже дрыгнул ногами. Перовский засмеялся.

— Ну что ты, Иван Викторыч, — сказал он, качая головой. — Придется мне тебя в Россию отвезти, к себе. Там девки ногами такое выкомаривают, ой люли! Ладно. Читай! — и он поднял ладонь с листа бумаги.

Виткевич прочитал первые строки и вскочил. Лицо его сделалось радостным, сияющим.

— Рот закрой, муха влетит, — сказал губернатор.

В рескрипте было написано, что прапорщику Ивану Викторовичу Виткевичу надлежит отправиться в Бухарию.

— Василий Алексеевич! — воскликнул Иван. — Да как благодарить мне вас?!

— Как хочешь, так и благодари, — ответил Перовский.

Помолчал, а потом, сразу став серьезным, начал говорить:

— Ты, Иван Викторыч, будешь первым в Бухаре, кто знает языки, нрав и обычаи азиатов. Ты будешь первым, кто сможет России правду о Бухаре рассказать — побасенки слушать надоело. Мне надобно о Бухаре все знать, чтоб свои выводы делать.

Широко расставив ноги, Перовский остановился около окна. Глядя на его широкую спину, на крепкий затылок и красную, изрезанную проволочками морщин шею, Виткевич негромко спросил:

— Василий Алексеевич, а в качестве кого я отправляюсь в Бухару?

Перовский поднял левую бровь, сощурился. Он ждал этого вопроса и готов был на него ответить.

— Ты едешь моим агентом.

— Агентом военного губернатора?

— Да, военного губернатора. Но такого губернатора, который интересуется не только протяженностью караванных путей, колодцами и хижинами для ночлега, не только ценою на верблюдов и коней, не только иностранцами, торгующими с азиатами, но духом народа, соседствующего с Россией. Духом! И потом я посылаю человека, в которого я верю как в ученого и к которому отношусь с чувством истинно отцовским. А как любой отец, дающий сыну многое, — медленно, чеканя каждое слово, продолжал Перовский, — я жду от тебя подтверждения действием доброго ко мне отношения.

Сказав так, Перовский лишил Ивана возможности возражать и спорить. Он давал Виткевичу возможность заниматься во время путешествия тем, чем тот считал нужным. Но одновременно требовал и того, в чем сам, как человек военный, нуждался.

— Посуди сам, Иван, — сказал он, подойдя к Виткевичу, — сколь многое я тебе разрешаю, на что *carte blanche* выдаю. Пользуйся. Вернешься, напишешь книгу, Пушкин в «Современнике» напечатает, я порадуюсь.

Снова отойдя к окну, Перовский бросил кратко:

— Ступай, Виткевич, да хранит тебя бог. Ступай.

6

И по осени, переодевшись в костюм хивинца, Виткевич снова отправился в Бухару, но уже не как беглец, а как исследователь Азии, доверенное лицо генерал-губернатора Перовского.

Но прошло полгода, истекли все сроки, а Виткевич в Оренбург не возвращался.

Человек пропал, канул в воду. То ли в степях погиб, то ли в Бухаре погиб. А может, и не погиб вовсе. Но почему не возвращается? Когда Перовский начинал думать об этом, у него портилось настроение.

Глава четвертая

1

Виги и тори во время прений в палате общин Великобритании произносили блестящие речи. Виги и тори в палате лордов, отговорив свои речи, выходили на улицу и тут же отправлялись на окраины Лондона драться на дуэли. Даже легендарный Веллингтон, несмотря на славу и преклонный возраст, дрался с лордом Винчельси после того, как не смог найти общего языка со своим политическим противником в здании Вестминстерского дворца.

В 1816 году Стефенсон употребил свой первый локомотив для перевозки угля. В 1825 году его локомотив перевозил не только уголь, но и пассажиров с поразительной скоростью: 8 миль в час. Через десять лет Стефенсон настолько усовершенствовал свое изобретение, что паровоз развил 35 миль в час. Развитию нужны скорости, Стефенсон давал скорости.

Король Георг IV обвинил свою монаршую супругу Каролину в прелюбодействе.

Каролина умерла. Лондонцы устроили ей торжественные похороны.

Британские фабриканты понизили заработную плату до минимума и поставили рабочих в условия, близкие к рабству. Девятилетние мальчики работали на шахтах, впряженные в угольные тележки. Дети стоили дешевле лошадей.

Лорд-канцлер палаты лордов Великобритании сидел во время заседаний и пылких речей о всяческих свободах, а равно и о всяческих притеснениях — Англия страна демократическая, конституционная — на подушечке, набитой шерстью, чтобы лишний раз подчеркнуть значение этой отрасли промышленности для Англии.

Сокрушая все на своем пути, капитализм развивался в Великобритании, несмотря на дуэли и прелюбодейства. Все эти романтические аксессуары не мешали развитию капитализма, да и не могли помешать.

Но в определенные исторические моменты даже такому напористому и стремительному, несмотря на внешнее англиканское спокойствие, капитализму, как капитализм британский, нужны были

и прелюбодейства императриц, и дуэли герцогов, и двусмысленные эссе политиков. Но особенно нужны были речи. Не только для того, чтобы смаковать за десертом тот или иной каламбур лидера виггов. Выступления политических деятелей были призваны ускорить формирование общественного мнения.

Прикрываясь надежным щитом «общественного мнения», прикрываясь громкими патриотическими криками, было легче лить кровь людей, завоевывая рынки для шерсти и свинины в Ирландии, Египте, Турции, Персии. В Индии.

В Индии.

В Индии.

В Индии.

«Смешно считать реку границей, — начинали писать в газетах опытные журналисты. — Река разделяет разделенное ранее. Граница по реке — несправедливая граница».

О чем это? О какой реке? О какой границе? Англии? Шотландии? Нет. Речь шла об Индии. Об английских владениях в Индии.

«Граница нации — святая святых человеческого достоинства. Соблюдение границ — выражение уважения к патриотическим чувствам миллионов людей. Итак, граница Индии — за Индом».

Говорилось красиво.

Понимать следовало: «Английские фабриканты должны торговать не только с Индией, но и со Средней Азией».

Торговать, конечно, беспрепятственно, без всяких пошлин.

Воскликалось патетически: «Россия — главная угроза Англии на Востоке. А в Индии — особенно».

Понимать следовало: «Необходимо оттеснить Россию от Средней Азии возможно дальше».

Смешно же было, в самом деле, считать феодальную, отсталую Россию конкурентом Англии в делах индийских. Россия никак не могла управиться с турецкими и кавказскими делами (не без «помощи» англичан, конечно).

Наступление — основа победы.

Обвинив первым — имеешь право первым и ударить.

Так обвиняй!

И Англия обвиняла.

Правда, первой жертвой этого обвинения, облеченного пока что в формы вежливых дипломатических бесед, решительных шпионских акций и банковских замораживаний, оказалась не

Россия — с таким возможным противником все-таки следовало действовать осторожно. Как-никак стомиллионный медведь — Наполеон — и тот ожегся.

Первой жертвой на пути английского наступления оказался Афганистан, страна сильных и смелых людей. В зоне Среднего Востока очень много значит, какую позицию занимает Афганистан. Больше всего англичанам мешала независимость афганцев. Больше всего англичан не устраивала самостоятельная, гибкая, энергичная, умная политика эмира Дост Мухаммед-хана, человека необычайно дальновидного и решительного.

Впервые после основателя афганского государства Ахмед Шаха Дюррани Дост Мухаммед обеспечил свободу торговли купцам, изничтожил разбойников на караванных путях, дал льготы ремесленникам и создал регулярную армию. Таким образом, он давал «дурной» с точки зрения англичан пример раздробленным индийским государствам.

Англичане повели наступление на Дост Мухаммеда обычным своим методом задабривания и запугивания одновременно. Эволюция такой политики была примерно следующая: легкая угроза — предложения субсидии — попытка организации бунта внутри государства — новые предложения субсидии — война. Дост Мухаммед видел, что круг сужается. Он пытался договориться с англичанами о том, чтобы его страну оставили в покое, обещав за это абсолютный нейтралитет. Такое положение не устраивало британцев. Узел затягивался все туже и туже.

Оценив обстановку, Дост Мухаммед отправил в Россию своего посла Хуссейн-Али с письмом к русскому министру иностранных дел.

Хуссейн-Али отправился в Бухару в конце 1835 года с тем, чтобы в начале лета прибыть в столицу России.

2

Именно поэтому и задержался Виткевич в Бухаре. Вернее — но и поэтому. Так как задержался он в Бухаре не по своей воле, а по нелепой случайности как раз за несколько часов до приезда сюда афганского посла.

Виткевич провалился по своей вине. Не сними он в чайхане меховой шапки, ни за что не признал был его беглый конокрад и насильник Ванька Сапожнов, сбежавший из Орска прошлой

осенью, а сейчас прижившийся в Бухаре. Он зарабатывал большие деньги тем, что фискалил среди русских пленников, томившихся в Бухаре многие годы.

Когда Иван снял шапку, на него никто не смотрел, кроме Ваньки. Виткевич сразу же одернул себя и надел шапку. Если бы смотрел кто другой, а не Ванька, все бы обошлось спокойно.

«Забылся», — думал Иван, стоя по колени в воде. Тут, в бухарской тюрьме, камеры не то что в России: на полу по колени вода, сесть некуда. Да это еще слава богу!

Здесь водятся такие казематы, где насекомых тьмы несметные специально разведены. Вот там истинная мука. С ума люди сходят через день.

«Ах ты, сволочь! — подумал Иван с гадливостью. — Белобрысый, сукин сын! Мерзавец! Своих продавать...»

Ивана успокаивало только то, что он успел плюнуть в лицо Сапожнову и ударить носком в мужское место. Иван хотел его еще раз туда же, да так, чтоб тот потом мог в скопцы наняться в эмиров гарем, но не успел: на руках и на шее повисли сразу четыре человека. Иван напрягся, ринулся вперед, сбросил двоих, отцепил того, который повис на шее, и кинулся к подоконнику. Он хотел выпрыгнуть в окно, там через дувал сразу же на базаре окажешься. На базаре не страшно: там десятки тысяч людей, и найти одного среди всех невозможно.

Стражники, приведенные Сапожновым, стояли у дверей в растерянности: никогда еще такого не было, чтобы эмировым слугам сопротивление оказывали.

Ивану осталось до окна метр, не больше. Но в этот последний миг Сапожнов, отлетевший от удара, поднялся на карачки и схватил Ивана за сапог, когда тот прыгал на подоконник. Иван упал. Это решило все. На него набросились и связали по рукам и ногам. Потом оттащили в тюрьму.

Когда Ивана бросили в камеру, он даже рассмеялся. За двадцать шесть лет жизни — три раза в тюрьме. Не слишком ли много? Только раньше был в своих тюрьмах. А тут тюрьма чужая.

«Что же делать, что же делать?» — думал Иван. Фраза эта, часто повторенная в уме, стерлась, потеряла свое значение, и от нее теперь осталось только одно жужжание; «же, же, де, же, же ть!»

Это «жже, же, ть» постепенно строилось в другое слово: «бежать».

Конечно, бежать. Но как? Отсюда не очень-то сбежишь.

Иван беспрерывно ходил. Ноги устали, хотелось сесть. А садиться в воду нельзя. И он снова ходил из угла в угол, сведя брови к переносью. То и дело подносил пальцы к губам: хотелось грызть ногти. Нельзя. Аннушка. Обещал не грызть. Не будет грызть.

Еще в Орской крепости, воспитывая Садека, Иван дал себе слово быть во всем предельно искренним с восточными людьми, которые по натуре своей доверчивы, как дети. С тех пор он никогда не обманывал ни одного азиата даже в самых трудных ситуациях.

Но сейчас он решил отступить от правила. Подошел к двери, постучал кулаком.

Никто не ответил. Постучал сильнее. Снова никто не ответил. Тогда Иван закричал:

— Дело к эмиру!

Приник к скважине, прислушиваясь. Шаги нескольких людей. Подошли к двери. Начали переговариваться о чем-то тихо, сдавленными голосами. Потом спросили:

— Ты кто?

— Англичанин. Везу к эмиру дело от моего короля.

За дверью снова зашептались.

— Давай дело.

Иван улыбнулся.

— Только эмиру отдам. Вам не отдам. Только в благословенные руки его величества, отца правоверных, тени над головой моей... — и он в течение минуты, не меньше, давал такие роскошные титулы эмиру, что стражники не могли не поверить человеку, знавшему столь хорошо все в обращении с именем их владыки.

С самого начала этой своей затеи Виткевич плохо верил в удачу. Виданное ли дело: для успеха задуманного им надо было, чтобы его повели по городу, во дворец. Он подсчитал, что схватили его часов в пять. Часов пять он пробыл в тюрьме. Значит, сейчас десять вечера. Уже темно. Самое время для побега.

Когда дверь открылась и ему протянули руку, чтобы он поднялся из воды в сухой коридор, Иван начал чуточку верить в удачу. А когда четыре стражника повели, скрестив перед его грудью пики, Иван понял, что имеет один шанс из ста на побег.

Это уже очень много. Перед выходом из ворот тюрьмы он сбросил тяжелые мокрые сапоги.

— Зачем? — спросил его старший из стражи.

— Идти больно, — ответил Виткевич, — у меня ноги ломаные.

Стражник подумал секунду, а потом кивнул головой.

Пошли.

Идут по тихим улицам. По темным улицам. Грудь скребет сталь пики. Впереди поворот в переулочек, маленький и темный. До него остается шагов двадцать.

Десять.

Пять.

Иван схватил пики, поднял их над головой и швырнул назад с силой. Стражники, не ожидавшие этого, налетели на тех двух, что шли позади. Не оглядываясь, Иван стремительно бросился вперед, свернул в переулок и понесся. За спиной он услышал сначала крики, а потом приближавшийся топот.

Снова поворот. Сюда? Нет. Дальше.

Вот еще один переулок. Может быть, сюда? А вдруг тупик? Нет, сюда!

Иван стремительно повернулся всем корпусом, скрылся в переулке и тут же налетел на человека. Оба упали. Человек закричал страшным голосом и схватил Ивана за горло.

3

Приехав в Бухару, Хуссейн-Али занемог. Он остановился в караван-сараях не как посол, а как простой путешественник, чтобы не вызывать любопытства. Устроился в маленькой комнатке, в той, где всегда останавливались купцы средней руки. Его спутник лег спать в общей комнате, чтобы не мешать отдыху посла.

Хуссейна-Али знобило. Он натянул на голову одеяло и, прикрыв рот рукой, дышал себе на грудь, стараясь хоть как-нибудь согреться. Знобило сильнее и сильнее.

Постучались в дверь. Посол слабо откликнулся:

— Войди и будь моим гостем.

Дверь отворилась, вошел молодой перс, поклонился, поприветствовал посла, быстро огляделся по сторонам и, убедившись, что Хуссейн-Али в комнате один, вышел.

Этот молодой перс был тем самым человеком, который столкнулся полчаса тому назад с Виткевичем в переулке. Испугавшись, он схватил Ивана за горло, решил, что это грабитель. Но, приблизив к себе лицо, он разжал руки и воскликнул по-русски:

— Иванечка!

То был Садек. Тот самый маленький Садек, который жил у Ивана в Орске и которого он потом отпустил на родину. Садека не

нужно было учить сообразительности: он толкнул Ивана в ворота, сам бросился на середину улицы и начал биться в судорогах. Таким его застали стражники, прибежавшие сюда через минуту.

— Туда! — закричал Садек, показывая рукой в ворота, противоположные тем, где спрятался Иван. — Он побежал туда!

Стражники ринулись в ворота. Садек сел, прислушался и покачавшись тихо шмыгнул к Ивану. Они обнялись и расцеловались.

А через полчаса, достав для Ивана новую одежду, Садек привел его в караван-сарай, к Хуссейну-Али. Он не знал, кто этот человек, но понимал, что путь он держит в Россию. С ним-то Садек и намеревался пристроить Ивана.

Высокое небо было освещено белым острием луны. Иван шел следом за Садеком по двору караван-сарая. Лошади хрупали сено. Сонно вздыхали верблюды, тоскуя о воле. Где-то кричали куропатки: днем они выступали в боях, а ночью переживали радость побед или горечь поражений. Мирная птица, а поди ж ты, и ее люди к боям приучили...

Садек ввел Ивана в комнату Хуссейна-Али, поклонился послу и вышел. Выходя, он сказал негромко:

— Это ваш друг. И пусть те, кто будет спрашивать, верят, что это действительно так. Вы просили проводника в Россию. Это он.

Садек был толмачом в караван-сарае, и посол еще утром вскользь попросил его о человеке, который знает дорогу к москалям.

4

Сначала они прощупывали друг друга быстрыми, на первый взгляд ничего не значащими вопросами. Посол сразу же увидел, что его новый сосед не мусульманин.

Но, с другой стороны, он настолько хорошо говорил по-персидски и так любопытно на пушту, что посол начал колебаться в своей уверенности.

Потом они разговорились.

Под утро они были почти откровенны друг с другом.

— Вы много говорили мне о той опасности, которая угрожает вашей стране со стороны Англии. Но какая разница, Англия или Россия?

— О родине так нельзя говорить. Так даже думать о ней нельзя. Я стар, я болен, я чувствую приближение своего часа. Но видишь — я еду. Лежа еду. Почему? Потому, что мне так велит родина. А

разница между Россией и Англией в том, что русские не требуют от нас тех позорных условий, которых требуют англичане. Русские не лезут в наш дом, а англичане подобны рыночным ворам. И это больно афганцу. Больно и обидно за родину свою.

Высохший высокий старик привстал на локтях и посмотрел на Виткевича лихорадочными глазами. Потом он опустился на постель и начал хрипло шептать тихие, исполненные нежности слова любви к своей стране.

Виткевич вздрогнул. Вдруг что-то огромное и радостное, словно вихрь, вошло к нему в сердце. Он вспомнил товарищей своих по «Черным братьям», Тимофея Ставрина, Песляка, Веденяпина, Яновского, студеные зимы и тихие летние вечера, Анну. Он вспомнил родину. Он вспомнил всех тех, кто делил с ним вместе тяготы, а в тяготах — радости.

— Мы едем в Оренбург ранним утром, — медленно проговорил Виткевич и, не попрощавшись с посланцем, пошел к двери, на улицу, смотреть рождение утра.

— Пы мыха ди ха^[12], — вслед ему сказал посол, положил под язык щепотку табака и надрывно закашлялся. Закрыв глаза, он подумал: «Хитер русский». Теперь посол был твердо уверен, что его спутник — русский. «Отчего же он тогда побледнел, если не оттого, что увидел свою родину, когда я заговорил о моей?»

Даже дипломат не может говорить о родине спокойно.

Глава пятая

1

Неожиданное возвращение Виткевича вместе с афганским посланом, доверенным лицом эмира Дост Мухаммеда, произвело в Оренбурге впечатление, грому подобное.

Сначала Перовский оцепенел от радости. Потом объявил Ивану свой восторг, как всегда, бурно. Губернатор увез Виткевича и Хуссейна-Али к себе домой, и там, запершись в кабинете, они проговорили часа четыре кряду. Когда беседа закончилась, Перовский сказал Ивану:

— Два дня на отдых, а потом в Санкт-Петербург. К канцлеру Карлу Васильевичу Нессельроду. — Губернатор улыбнулся и добавил: — Эк мы им, столичным, нос утерли, а?

2

День, который Перовский дал Ивану на отдых, он решил использовать на то, чтобы повидаться с Песляком.

Характер Алоизия Песляка походил на характер старого деда, который, отрешившись уже от своего собственного, личного, радуется лишь успехам внуков своих. Песляк два раза дрался на дуэли, был лихим наездником, спас от пожара трех людей, рискуя собственной жизнью, и в отличие от Ивана мог выпить столько греховного зелья, что другим и не снилось. Никак нельзя было подумать, что в этом храбром человеке, несколько суровом с виду, столько мягкости душевной и доброжелательства к окружающим. Виткевич очень ценил дружбу Песляка. Дружба эта была проверена и учением в гимназии, и сидением в одной тюрьме, и одним приговором, и ссылкой в одну и ту же губернию, и ссорой, запомнившейся приятелям на всю жизнь. Случилось это за несколько дней до второго похода Ивана в Бухару. Он зашел к Песляку на минуту за одним из своих словарей, а засиделся до петухов, а разошлись друзья разъяренными, аж красноглазыми стали от горячей шляхетской крови, гордыней исполненной.

— Человек должен быть доброжелателен, — говорил тогда Песляк, — а тот, кто занимается философией, языками или

историей, — особенно. Отчего, спрашиваешь? Да оттого, что если к человеку с добром идти, так и он добреет. А в доброте легче увидеть, что, зачем и почему. Но не в гневе или предвзятости. Ты, Иван, смешной человек: все понимаешь, ко всему сердцем да умом тянешься, а вид на себя такой напускаешь, что все разбегаются, тебя завидев. Кто тебя знает, те прощают или не обращают внимания. А незнакомые, которым ты неизвестен? Как с ними? Как они на тебя смотрят?

— Что же, по-твоему, должен я с лицом добродушного болвана ходить и слюни пускать? — огрызнулся Иван.

Он ответил так грубо именно потому, что слова Песляка задели его за живое.

Виткевич понимал, что нельзя, ну, никак нельзя свою пережитую боль как-либо, даже и внешним поведением, навязывать окружающим людям. Но, как ни старался он себя сломать, ничего у Ивана не выходило, а если выходило, то чрезвычайно слабо.

Песляк поморщился, но ничего не ответил резкого. Наоборот, продолжал еще более ласково и дружески; — Иван, нельзя так: что ни слово, то с шилом. Тебе, вижу я, и самому все это претит.

Но Виткевич был весь напряжен, натянут, словно нить: тронь — порвется. Впереди был поход в Бухару. Иван не сдержался, нагрубил Песляку. Расстались не попрощавшись.

И вот сейчас, обнимаясь, рассматривая друг друга и снова обнимаясь, они прятали в глазах слезы и не могли вымолвить ни слова.

Человеку уезжавшему всегда кажется по возвращении, что за то время, пока он отсутствовал, произошло столько же нового и интересного здесь, сколько он пережил там. Поэтому Иван засыпал Песляка самими неожиданными и разнообразными вопросами. Потом, выслушав столь же беспорядочные ответы друга, Иван рассмеялся и сказал:

— А за то — прости. Глуп я был тогда, как жандарм.

Песляк махнул рукой: мол, пустяки, не стоит об этом.

— Алоизий, друг мой хороший, что я видел — описать словами никак невозможно! Это сказки детства и сны юности! Это такая красота, Песляк! Луна на изразцах, на голубой глазури, которой минареты выложены, так по ночам играет! В этом века, Македонский, Тимурленг. Там дышишь пылью столетий, — Иван рассмеялся, — а пыль, надо сказать, въедливая, злая, глаза жжет. А люди? Ежели в Бухаре, в центре города, глаза прикрыть да постоять

так минуту, прислушиваясь, кажется, будто море шумит. Правда, я море с детских лет помню, но не ошибаюсь, когда говорю так. Море, истинное море! То грозное, то тихое, ласковое... И — нищета. Бог мой, какая там нищета! Болезни, голод. У людей животы к позвоночникам прирастают, кожа прозрачная делается — через нее солнце просвечивает желтизною. Но ум, ум какой! Смекалка! И рядом — дикость. И знаешь, что интересно? Я впервые в Бухаре славянином себя почувствовал. Вместе, в одном: я поляк, Тимофей русский, Зенченко хохол — все мы славяне. Одно племя!

— Ну да, — кивнул головой Песляк, — и русские своих единоплеменников секут, три шкуры, по-солдатски говоря, спускают, и хохлы и поляки в этом не отстают...

Иван забегал, принялся махать руками.

— Маслов не Россия! Розен не Россия! Тимофей Ставрин — Россия. Темная, добрая, светлая, сердитая! Но в ней сила, великая сила! И знаешь, я был силой этой силен, смекалкой хитрющей славянской спасен, из смерти вырван. Я вижу, удивляешься ты. Правильно! Все будут удивляться. Все, кто там не был да нашего с тобою не пережил. Помнишь, говорил ты: «Доброжелательным быть надобно». Да, да, да! Умница, Песляк, прелесть! Один за одного? Ерунда! Один за всех — надорвешься, килу наживешь. Все за всех? Может получится. Перовский надо мной смеется: «Пестеля, — говорит, — в Оренбурге прячу». А ты понимаешь меня, Песляк?

— Не понимаю, — ответил тот, — но все же верю. Я тебе всегда верить привык, Иван.

За окном пели:

Ах, Урал-д-река, широкая,
Широкая, глубокая...

Виткевич не умел петь. Но сейчас, подойдя к двери, распахнул ее широко и стал подпевать, отчаянно перевирая мотив.

В раскрытых окнах — ночь. Темная, но уже несущая в себе мягкие, чуть заметные тона рассвета. Ибо всегда следом за ночью приходят свет и солнце.

— Правильно сказано у пророка Исаяи, — задумчиво сказал Иван: — «Еще ночь, но идет утро...»

"Сейчас, когда уж нет Ласточкина, я могу бумаге доверить то, чего не доверю даже себе самому, а друзьям побоюсь высказать, дабы не показаться неустойчивым, мятущимся, бросающимся из крайности в крайность.

Раньше говорил: «Польша! Только великая Польша! Ура Польше — единственной любви моей!» Потом, среди русских пожив, одним воздухом с ними подышав, одних горестей хлебнув, говорить начал: «Лишь через свободу в России — свобода Польше. Их дело и наше — одно, общее!»

Кживицкий — бог с ним, он как червь, дань теплу после дождя. А ведь и Песляк, думаю я, не сразу и не наверняка поймет перемену в моих воззрениях.

Я чувствую: как брат старший нужен я азиатам, сынам вершин и просторов. Разбуди меня ночью, скажи: «Иван — в Бухару, Иван — в Кабул!»-сразу все брошу, туда пойду, потому что лекарь стремится к тому больному, которого — верит он — излечить сможет. Для которого — верит он — всегда в его подсумке лекарство нужное имеется.

...Сердце мое иногда бывает похоже на дом, в котором живут три возлюбленные: Польша, Россия и Азия. Как примирить мне их? Как слить в одно целое, как всем им сразу поклоняться?

Видно, прав был Гумбольдт, когда говорил, что великий смысл слова «движение» не понят еще людьми и не сразу понят будет. По-видимому, только движение может объяснить мои искания.

Сегодня нет моему сердцу ничего милей полыни. А завтра — розы всего милее. Верно ли это? И да и нет, но правомочным и то и другое считаю. Фрондер, который поклоняется одному лишь, даже ежели это одно косоглазо, — нелеп, как нелепо и поколение его. Когда от многообразия приходишь к единственно верной убежденности — вот тогда верно.

И если я сегодня люблю полынь, то это отнюдь не значит, что я розу отвергаю вообще, как будто ее и не было на свете. Чем большим окружающим интересоваться буду, любить и остывать в любви своей, тем правильнее окажется тот абсолюте, к которому стремится разум любого человека. Важно, чтобы вера была. А с нею — «стучи в барабан и не бойся!».

Виткевич перечитал написанное, подумал немного да и запалил край желтой бумаги пламенем свечи. Через минуту он выбросил пепел в окно, решив: «Алоизий Песляк утверждает, что курам зола и

пепел надобны. Вот и хорошо — философствования мои курам на пользу послужат...»

Ивану стало весело и свободно.

Уснул он счастливым и во сне видел жареных окуней.

3

Экипаж остановился около парадного подъезда министерства иностранных дел.

Виткевич выпрыгнул первым, протянул послу руку, помогая выйти.

Из проезжавшей мимо веселенькой кареты, на редкость изящной, похожей на игрушечную, высунулась белокурая, прекрасная, еще более красивая, чем раньше, Анна.

— Иван! — закричала она звонко и чисто.

Виткевич бросился к ней, забыв обо всем на свете...

Ночью, обнимая голову Виткевича своими мягкими руками, она говорила негромко и устало:

— Останься здесь, Иван. Я смогу сделать так, что ты останешься. Помнишь, любимый, ты говорил мне, что твоя мечта быть подле меня, всегда и везде. Ты слышишь, Иван?

Виткевич смотрел в потолок и молчал. За окном деревья шелестели молодой своею листвою. Ночи были быстролетны, стремительны, как любовь.

— Мне очень гадко все это, поверь. Я и могу теперь все, потому что гадко. Ты спрашиваешь, где Яновский... Но я не умею, когда трудно. Не хочу, когда трудно, Иван! Ведь я женщина. Ты слышишь?

Виткевич молчал.

— Ты останешься? — снова спросила Анна.

Ее страшит молчание. Она любит, когда говорят, говорят, говорят без умолку. Тогда лучше. Тогда ни о чем ином думать не надо, кроме как об ответах — таких же пустых и ни к чему не обязывающих, как и вопросы. А он молчит. Молчит, не говорит ни слова.

4

— Ваши друзья о вас лестно отзываются. Это склонило меня к тому, чтобы предложить вам работать под моим началом, в азиатском департаменте, — не глядя на Виткевича, сказал Нессельроде и брезгливым движением руки поправил на столе бумаги.

Виткевич чуть заметно улыбнулся.

— Покорно благодарю, ваше сиятельство. Но работать в учреждении столь высоком, не зная Востока настоящего, не слишком ли большая честь для меня?

Нессельроде быстро взглянул на Виткевича и почесал задумчиво кончик носа.

Подошел к маленькому, орехового дерева секретеру и достал оттуда что-то блестящее. Вернулся к столу и протянул Виткевичу орден.

— Поздравляю вас, — сказал канцлер. Помолчав немного, закончил: — Ступайте, я подумаю о вашей дальнейшей судьбе...

Через неделю, облеченный полномочиями дипломатического агента, Иван Виткевич был отправлен через Тифлис и Тегеран в Кабул, ко двору афганского эмира Дост Мухаммеда.

Притулившись в углу темной кареты, Виткевич неотрывно, тяжело думал о будущем.

Оно представлялось ему темным, как осенняя дождливая ночь, и таким же грозным.

Вспоминалась почему-то депеша от Перовского, полученная за день до отъезда.

Генерал-губернатор писал Ивану, словно сыну, и не уставал в каждой строке предостерегать. Он предостерегал и от болезни, и от плохих людей, и от сырого воздуха.

«Я смотрю сердито, да — с толком. У меня глаз верный, ты меня слушай», — вспоминал Иван слова губернатора...

Иван отдернул занавеску. В карету вошел предутренний холод. В серой далекой дымке громоздились холмы, переходившие постепенно в горы.

«Боже мой, — Иван зажмурился, задохнулся от счастья, — Азия там! Там простор, там — радость!»

Отправляясь в Кабул, Виткевич помнил слова Пушкина о том, что цари умеют делать политическую игру ценою людской крови; помнил он и слова поэта о том, что заниматься творчеством, отбывая службу, дело, непосильное человеческому уму и сердцу.

Иван великолепно помнил слова поэта, но все же назначение в Кабул счел великим благом для себя, для своего труда. Виткевич был убежден, что в Афганистане он сможет быть полезным и русским и афганцам, что его труд — изучение народов Востока, их литератур, обычаев, их языков, их истории — пойдет на пользу потомкам, сблизит внуков афганцев и русских.

Отправляясь в Кабул, Виткевич шел на отчаянный риск. Он ехал в Кабул посланником Нессельроде, Бенкендорфа, Николая. Но, ступив на землю Афганистана, Виткевич перестал быть посланником Нессельроде. Он стал посланником России Пушкина, Глинки, Бестужева, Даля, Ставрина, Жуковского.

Иной России Иван не принимал и представлять соседнему, дружественному народу не желал да и не мог.

Часть третья

Глава первая

1

К середине 1837 года Афганистан оказался зажатым с двух сторон цепкими щупальцами британской экспансии.

На востоке от афганской столицы, в Пешаваре и Лахоре, англичане действовали против Кабула плохо замаскированными провокациями. Англичане всячески поощряли индийские племена сикхов к продвижению в Кабул и Кандагар, то есть в исконные афганские земли, и в то же время всячески препятствовали в их продвижении к морю.

На западе от Кабула, в Герате, окопался английский резидент, который и направлял все действия гератского эмира. Столь благодушная помощь гератскому эмиру, убийце отца теперешнего кабульского эмира Дост Мухаммеда, была отнюдь не случайной и тем более не филантропической помощью Британии.

Испокон веков афганский город Герат, расположенный в цветущем оазисе, неподалеку от водного амударьинского пути, был связующим центром между торговыми домами Востока и Запада. Помимо того, Герат был великолепным стратегическим плацдармом для нападения на Среднюю Азию. Правда, в кулуарах британского парламента резко протестовали против столь негибкого термина, каковым является «нападение».

— Не лучше ли трактовать нашу помощь гератскому эмиру как обеспечение безопасности Великобритании? — не скрывая веселой улыбки, спрашивали друг друга парламентарии, когда им приходилось сталкиваться с резким осуждением английских авантюр в Азии.

Итак, речь, оказывается, шла не о захвате Герата, не о том, чтобы подчинить этот город англичанам, а о безопасности Великобритании, отстоявшей от афганского города Герата по крайней мере на шесть тысяч верст.

Цель оправдывает средства. Англичане — политические деятели и финансовые короли, любители колониальной поживы и промышленники — всеми силами старались обелить вмешательство британской военщины в афганские дела. Герат должен стать такой крепостью, ключи от которой хранились бы в Лондоне. Если бы

англичанам удалось до конца подчинить Герат своему влиянию, тогда можно было бы думать о полном захвате всех афганских земель. Захват Афганистана был бы в значительной мере облегчен, если бы в тылу государства существовала крепкая опорная база английских войск. Следовательно, укрепившись в Герате, обеспечив, таким образом, далеко выдвинутый вперед левый фланг, англичане могли вторгаться в Кабул и Кандагар, а оттуда уже, двигаясь двумя колоннами, соединившись с третьей колонной в Герате, форсировать Аму-Дарью и вступить в Хивинское и Бухарское ханства.

Если бы произошло именно так, то сэр Александр Бернс наверняка получил бы генеральские погоны и выдвинулся в первый ряд британских военачальников-стратегов.

Но Ост-Индская компания прекрасно понимала, что в случае неудачи в Герате, как и в случае последовательно твердой, независимой политики Афганистана, позиции Британии в Азии на ближайшие годы окажутся сильнейшим образом подорванными.

Вот именно для того, чтобы нейтрализовать все возможные просчеты, в Кабул была отправлена «торговая миссия» во главе с полковником Бернсом.

Умный, циничный, напористый, Бернс выдвинул афганскому эмиру Дост Мухаммеду три условия сохранения «вечного мира» между Британией и Кабулом.

Первое. Афганцы должны навсегда отказаться от захваченных сикхами исконных афганских земель.

Второе. Афганистан должен признать «независимость» Кандагара и Пешавара.

Третье. Дост Мухаммед не должен принимать ни одного посла из любой другой страны, кроме Британии, не имея на то разрешения английских чиновников.

За исполнение этих позорных и неприемлемых для независимости государства условий Бернс сулил Дост Мухаммеду мир с Британией и покровительство королевы.

Выдвигая эти условия, Бернс не знал, что генерал-губернатор Индии лорд Аукленд уже отдал секретный приказ — сосредоточивать войска на границах с Афганистаном.

Не знал он и того, что сикхи, подстрекаемые британцами, непрерывно нападали на афганцев. Ничего этого Бернс не знал.

Все это знал афганский эмир Дост Мухаммед.

Около небольшого афганского города Себзевара Виткевич приказал остановиться.

Маленькая чайхана, скрытая от палящих лучей солнца сонной листвой ивы, казалась совсем безлюдной.

Спешившись, Виткевич неторопливо привязал поводья к стволу тутовника, постоял минуту, о чем-то думая, и пошел к маленькой покосившейся двери.

Где-то во внутреннем дворе жалобно скулил щенок и тоненький мальчишеский голосок причитал:

— Несчастье, ниспосланное шайтаном, принесло боль моему умному и хорошему щеночку...

Виткевич улыбнулся ласково и подумал о том, что в Оренбурге у него тоже остался пес. Бобка. Дурной и добрый до невозможности.

Виткевич постучал в дверь. Негромко сказал:

— Салям алейкум.

— Да, да. Войди, Шарли.

Услыхав первые слова, произнесенные по-персидски, Виткевич распахнул дверь, но тут же пожалел о сделанном, потому что следующие два слова были произнесены по-английски.

Посреди комнаты на вытертом красно-синем ковре сидел невысокий человек в английской военной форме.

Какое-то мгновенье Виткевич и англичанин смотрели друг на друга молча. Потом, опершись на руку, англичанин попробовал подняться. Распухшая в колене нога помешала ему. Он виновато посмотрел на Виткевича и тихо предложил:

— Простите, я не могу встать. Входите, пожалуйста.

Не ответив, Виткевич повернулся и, плотно прикрыв за собой дверь, быстро пошел к отряду.

Вскочив в седло, он коротко бросил:

— За мной!

Подъехавшему есаулу Виткевич пояснил, усмехнувшись:

— Не люблю я что-то с британцами в Азии встречаться.

Роллинсон прислушался. Попытался подняться на локте. Чертыхнулся. Шальная пуля под Гератом застряла в икре, а в

здешней проклятой глухумани нет ни одного порядочного лекаря. Друзья настояли, чтобы Роллинсон в сопровождении шотландца Шарли немедленно отправился в Кабул к доктору Гуту, — туда можно было скорее добраться, чем в Тегеран.

— Шарли, эй, Шарли! — крикнул Роллинсон. Никто не ответил. Только, испуганно всхлипнув, еще громче завизжал щенок за стеной.

— Шарли!

«Неужели лошадей надо поить два часа?» — рассерженно подумал Роллинсон.

— Шарли!

«Рыжий осел, болван».

— Шарли! — хрипло заорал Роллинсон, откинувшись всем корпусом назад, чтобы не слишком затекала правая рука.

Пока Роллинсон чертыхался, опасаясь, что незнакомец скроется, Шарли оказал Роллинсону невольную услугу. Получилось это вот как.

Если спускаться от чайханы к ущелью, дорога внизу раздваивалась. Обе тропинки вели еще ниже, туда, где сердито бормотал ручей.

Шарли обладал одной, особенно Роллинсона нервировавшей чертой характера: он был необыкновенно медлителен.

И на этот раз он простоял добрых три минуты у развилки, решая, по какой все же дороге ему следовало спускаться к ручью. Тщательно все осмотрев, Шарли почему-то отдал предпочтение правой, хотя именно эта тропинка была значительно круче.

Внизу он стреножил коней и пустил их к воде. А сам улегся под мягким, шелковистым можжевельником отдохнуть минут десять.

Шарли не помнил, сколько времени он проспал. Наверное, долго, потому что в висках шумело от жары и по лбу лился пот. Проснулся он от чьих-то голосов.

Открыв глаза, Шарли увидел метрах в двадцати от себя на берегу ручья двух людей в белых шароварах и полотняных рубахах, перетянутых необыкновенно широкими кожаными ремнями. По виду они явно не походили на здешний люд. Высокие, русоголовые, статные. Когда они нагибались, подбирая сухие сучья, — по видимому, они хотели разложить костер, — Шарли видел, как под их полотняными рубашками перекатывались здоровенные мускулы. Шарли осмотрел их внимательно и вспомнил, что точно так же одетых людей он видел около русского посольства в Тегеране.

«Русские», — решил Шарли. Он хотел окликнуть этих ребят, но пока раздумывал, стоит ли, двое повернули за здоровенную скалу, нависшую над белым от злости потоком, и скрылись из глаз. И именно то, что Шарли не окликнул русских, а просто-напросто вернулся наверх, в чайхану, и уже после нагоняя, полученного от рассерженного хозяина, рассказал ему о своей встрече, — именно все это и обеспечило в дальнейшем Роллинсону крест за заслуги, как человеку, первому обнаружившему в Афганистане русские «казачьи части».

4

Ночью Бернс долго не мог уснуть. Москиты мучали его до самого утра. Несмотря на то, что он соскоблил эмаль с зеркал и вставил их в окна (потому что стекло в Кабуле не было), все равно москиты проникали в комнату через крохотные, известные только им одним щели. Но не только москиты не давали спать Бернсу.

Как опытный шахматный игрок, он еще и еще раз припоминал и перепроверял все ходы, сделанные им за последние несколько дней. И чем строже он анализировал партию, тем крепче уверялся в правильности своей атаки и в выгодности своих позиций.

Чтобы разогнать москитов, Бернс раскурил сигару и, с наслаждением затягиваясь, стал пускать в темноту комнаты бело-синий плотный дым.

Затянувшись особенно глубоко, он фыркнул, вспомнив, как лет десять тому назад лорд говорил ему: «Если начнете игру, обязательно закурите». Он умница, лорд, все понимает.

Рано утром его разбудил Роллинсон. Полное лицо его цвело улыбкой, несмотря на боль в ноге.

Бернс посмотрел на него вопросительно.

— Я видел русских, — с полным безразличием на лице сказал Роллинсон.

Бернс сразу же потянулся за сигарой, но, поняв, что этим он выдаст свое волнение, отдернул руку. Зевнул. С хрустом потянулся. Снова зевнул и на секунду прикрыл глаза.

— Да? — спросил рассеянно. — Что ж, любопытно.

И только после такой интермедии он взял сигару и начал легко разминать ее пальцами. Отгрыз кончик, сплюнул горечь, закурил. Роллинсон, глядя на Бернса, выжидательно щурился.

Лицо Бернса, обычно такое мягкое и ласковое, менялось на глазах. Сначала под матовой кожей жестче обозначились скулы и заиграли желваки около ушей. Потом потухли глаза и спрятались под тяжелыми веками. На лбу собрались сильные, рубленые морщины. В комнате вдруг стало необычайно тихо. Только наверху, под потолком, гудели москиты. Веселый писк их, слитый воедино, превращался в зловещи и гул.

«Итак, — думал Бернс, — на шахматной доске появилась еще одна фигура. По силе она равна ферзю. А по всем законам шахматной игры король, усиленный ферзем, почти непобедим. В данном случае русский ферзь идет к афганскому королю. Это может кончиться победой. Их победой, афганцев. И поражением его, Бернса, англичан...»

Под потолком по-прежнему гудели москиты. Потрескивала сигара — по-видимому, листья табака были слишком пересушены.

"Кто из русских может идти сюда? — продолжал думать Бернс. — У них нет людей, знающих Восток. Я в этом теперь совершенно уверен. Ни в Петербурге, ни тем более в Москве таких людей нет, это ясно.

Там есть одни лишь посредственные политики, обыграть которых в азиатской партии не трудно совершенно. Значит, перед тем как этого ферзя — по тяжеловесности и пешку — по значимости допустят ко двору эмира, необходимо провести с ним самим партию, посмотреть, что это такое. Может быть, это такой слон, допустить которого ко двору эмира только выгодно, кто знает... Хорошо. Ну, а если вдруг это тот самый разведчик, который сбежал от меня в Бухаре? Хотя он все-таки, вероятно, не был разведчиком. Это узнавал лорд через свои самые надежные каналы.

По-видимому, тогда я ошибся. Тот не был русским разведчиком. Значит, опасения не должны быть слишком серьезными. Но поскольку опасения есть, к ним надо отнестись так, как принято относиться. Хорошо. Все".

Бернс отбросил легкое одеяло, встал. Широко улыбнулся Роллинсону и пошел одеваться. Он быстро вернулся, подтянутый, бодрый, улыбающийся, обаятельный.

— Едем, — сказал он Роллинсону и ласково похлопал его по спине.

Александр Бернс любил борьбу. И он умел бороться.

Глава вторая

1

Если перейти Кабул-реку, вспененную и нетерпеливую в это время года, за базаром, на котором прочно обосновались индусы-менялы, армяне и евреи, сразу же начинался большой, длинный забор, обнесенный вокруг дома, построенного специально для заезжих европейцев купцом Ар-Рашидом.

Здесь жил доктор Гут, человек, которого за пышные бакенбарды и детский пушок на голове остроязыкие кабульцы прозвали «теленочком».

Ровно в два часа Гут вернулся из эмирского дворца. Еще в маленькой колясочке, специально для него сделанной, — Гут верхом не мог ездить из-за тучности, — он нетерпеливо посматривал на старинные, формой похожие на луковицу часы. Сегодня в три часа он ждал у себя русского поручика Виткевича.

Этот молодой человек с бронзовым сильным лицом многим понравился при дворе. Гут считал своим непреложным долгом сближаться с каждым, кто входил в орбиту эмира.

По слухам, Виткевич то ли уже был неофициально принят Дост Мухаммедом, то ли должен быть принят на этих днях. Если он будет принят так, что об этом узнают все, это и будет считаться официальным признанием. Гут был умным и наблюдательным человеком. Уже после нескольких месяцев пребывания в Кабуле он понял, что Дост Мухаммед человек большого ума и прищуренного глаза. Гут в прищуренный глаз очень верил.

Дома он сменил рубашку и переобулся. Доктор носил мягкие, козьих шкур сапожки.

Осмотрел стол. Все было так, как задумано. Специально для того, чтобы поразить Виткевича, человека северного, с Азией незнакомого, Гут приказал доставить самые лучшие сорта черного винограда, яблоки, засахаренные дыни, грецкие орехи, тертые с ягодами тутовника, и яркие гранаты. Во дворе уже пахло жареным мясом — на углях, нанизанные на тоненькие металлические палочки, лежали кебабы и вырезки для плова.

Виткевич прибыл к трем, с опозданием на две минуты, как и положено по этикету.

Гут встретил его у ворот, взял за локоть и, тесно прижав жилистую руку поручика к своей мягкой груди, повел в дом.

— Мой дорогой посол, — проворковал Гут, — я прошу разрешения называть вас первым русским казаком. Вы разрешите?

Виткевич пожал плечами и, усмехнувшись, кивнул головой.

— Пусть это дерзость, — продолжал Гут, — ведь вы дипломат, а я лекарь всего лишь... Но здесь и лекари могут быть полезны дипломатам.

— В такой же мере, как и дипломаты лекарям, — отшутился Виткевич и попробовал освободить свою руку.

Но Гут еще крепче прижал его локоть к груди и подвел к столу.

— Сначала вы должны познакомиться с афганской кухней, — сказал он, — мой долг быть вашим гидом.

Доктор усадил Виткевича на тахту и захопотал вокруг него, пододвигая со всех сторон блюда с яствами.

Гут принадлежал к той категории людей, которые любят угощать. Самое большое наслаждение Гут испытывал, заново переживая те вкусовые ощущения, которые им были давно забыты из-за чрезмерного увлечения гастрономией в прошлом.

Дозы принятия пищи у Гута были расписаны по минутам. Сначала яблоко и груша. То и другое с разных, совершенно диаметральных сторон действует на желудок. Это хорошо, ибо всегда две противоположные силы порождают прямую. Всякая прямая — благо в нашем мире сфер и зигзагов. Потом гроздь черного винограда. Две-три сливы, не больше. Полстакана гранатового сока. Несколько минут отдыха. А потом... Потом начинается настоящее блаженство: плов с топленным бараньим салом, изюмом и кусками гушта — мягкого, пахучего мяса.

— Ну как? — весело поглядывая на пиалу с пловом, принесенную Виткевичу мальчиком-слугою, спросил Гут, — каков аромат, а? Что ваш Петербург! — И доктор весело рассмеялся.

Гут разрешал себе шутить, угощая гостя обедом. Обед этого стоил. Но Виткевич не успел по достоинству оценить кухню доктора. Хлопнула входная дверь. Гут поднял голову. Брови его поползли вверх от радостного изумления: на пороге стояли Бернс и Роллинсон.

— Господа! Откуда?! — кинулся навстречу к гостям Гут, поспешно вытирая рот салфеткой. — Это сюрприз!

Спохватившись, он затоптался на месте и, обращаясь попеременно то к Виткевичу, то к Бернсу, быстро сказал:

— Разрешите представить вам. Господин Виткевич. Господа Бернс и Роллинсон. Прошу вас, это такая радость. В моем доме...

Нужна была воля и выдержка Бернса, чтобы с таким открытым и веселым лицом пойти навстречу побледневшему Виткевичу.

— Здравствуйте, господин посол. Я счастлив встретить здесь еще одного европейца, — сказал Бернс, приближаясь к Виткевичу.

— Вы оговорились, — поправил его Виткевич, побледнев еще больше. — Я не посол. Просто поручик.

Они обменялись крепким рукопожатием. Со стороны казалось, что здороваются старые друзья. Роллинсон засмеялся:

— А вы меня заставили пережить много томительных минут в Себзеваре, мосье Виткевич.

Иван посмотрел на Бернса и, улыбнувшись краешком рта, ответил:

— В пути не следует быть разговорчивым. Я думаю, господин Бернс поддержит меня.

Бернс сразу стал серьезным.

— Совершенно верно. Роллинсон, поверьте, господин Виткевич прав. Он говорит золотые слова. Проситесь к нему в оруженосцы. Вам будет легко видеться, потому что свидания будут, по-видимому, происходить во дворце эмира. Это романтично. Кстати, вы уже представились его величеству? Если нет — соблаговолите принять мои услуги, как вашего друга и человека, близкого его величеству уже много лет.

Виткевич подвинул Бернсу блюдо с яблоками.

— Мне очень нравятся вот эти, желтые. Нет, нет, справа. Наш дорогой доктор знает, чем угощать.

Гут был польщен и поэтому поклонился. Увидев забинтованную ногу Роллинсона, спросил:

— Что с вами?

— Пустяки.

— Для доктора пустяков не существует.

— Поранил на охоте, доктор, пустяки, сущие пустяки.

— Ну, знаете, с этим шутить нельзя, — нахмурился Виткевич, — вдруг какое-нибудь загрязнение... Или перемена погоды, дожди. Это может повлиять весьма плачевным образом. Кстати, как сейчас в Герате, сыро?

— Нет, сухо, — ответил рассеянно Роллинсон.

Доктор и Роллинсон были заняты осмотром ноги, и поэтому никто не видел, как встретились взгляды Виткевича и Бернса. Они

смотрели друг на друга пристально и тяжело. Вдруг Виткевичу захотелось показать Бернсу язык: «Что, проговорился твой дружок? Тоже мне, дипломаты...»

Бернс не выдержал взгляда Ивана и отошел к Роллинсону.

— Мы не будем мешать вашей беседе, доктор, — сказал он. — Право же, нам очень неудобно, что мы ворвались к вам столь внезапно. Простите нас.

Доктор и Виткевич начали было протестовать в один голос, но англичане все же ушли.

Улыбка сошла с лица Бернса только на улице. Он сокрушенно покачал головой:

— Ай-яй-яй!... «Какая сейчас в Герате погода?» А? Как он вас ловко, друг мой!

2

По пути в эмирский дворец Бернс напряженно обдумывал создавшуюся ситуацию. Да, в Кабул пришла, конечно, не пешка. В Кабул пришел ферзь.

«А ведь, значит, и лорд ошибается, — думал Бернс. — Вот он, этот мальчик. Нет в России востоковедов? Есть! Есть, черт возьми».

Запыленный, не одетый по этикету, он быстро вошел в приемные покои Дост Мухаммеда. Адъютант эмира Искандер-хан радостно сжал его руку: он любил англичан, а особенно сильно Бернса.

Через несколько минут адъютант вернулся и знаком предложил Бернсу следовать за собой. Миновав темную комнату с острым, давно здесь установившимся запахом жженого миндаля, адъютант отворил половинку низкой двери и пропустил Бернса перед собой.

Эмир сидел, закрыв глаза и устало опустив руки вдоль тела. Большой, во всю комнату ковер, тяжелые драпри на окнах гасили все звуки. В кабинете было тихо.

— Салям алейкум, повелитель правоверных, великий мудростью и разумный силой, — сказал Бернс и повторил свое приветствие, теперь уже громче: первый раз его голос показался шепотом.

Дост Мухаммед открыл глаза, кивнул Бернсу и указал на невысокое мягкое креслице, стоявшее по правую от него руку. Бернс сел и, не дожидаясь вопросов Дост Мухаммеда, заговорил первым:

— Ваше величество, чрезвычайные обстоятельства принудили меня просить вашей аудиенции.

— Я это понял по твоей одежде, — заметил эмир.

Бернс оглядел себя, подосадовал на торопливость.

— Ничего, пустяки, Бернс. Так что же это за чрезвычайные обстоятельства?

— Активизация русских агентов в вашей великой стране.

Эмир придвинулся вплотную к Бернсу и спросил быстро:

— В чем она выражается? Факты!

Бернс привык к тому, что эмир никогда не ставил вопроса в лоб. Тактичный и умный, понимая все происходящее вокруг, Дост Мухаммед до сих пор только давал Бернсу почувствовать, что он понимает многое и о многом осведомлен. И о том, что английские резиденты ведут подрывную работу в Кандагаре и Кундузе, и о том, что происходит за Индом.

Сейчас его рассердил тон и манера, в которой говорил англичанин. Эмир потребовал фактов. Это еще больше насторожило Бернса. Ему потребовалось всего несколько мгновений для того, чтобы придумать и обобщить факты, построить их в сильную, подкрепленную неопровержимыми доводами концепцию и представить эмиру.

Но и Дост Мухаммеду эти мгновения оказались совершенно достаточными для того, чтобы понять смысл паузы. И он чуть заметно улыбнулся. Бернс увидел улыбку эмира и понял, что начинает проигрывать. Нужно было менять тактику. В таких случаях лучшая тактика — напористость и откровенность.

— Я говорю о Виткевиче, ваше величество.

— Ах, так! Это что, и есть активизация?

— Хотя бы. Ибо ни мне, ни вам пока не известны истинные цели этой миссии.

— Вам они, конечно, не известны. Но почему вы думаете, что они не известны мне?

— Разве ваше величество уже изволили принимать Виткевича?

— Это известно тоже одному мне. Да и потом, какое это имеет отношение к активизации агентов русских?

Дост Мухаммед легонько хлопнул в ладоши. Маленькая, незаметная дверь позади него отворилась. Низко согнувшись, кланяясь на каждом шагу, оттуда вышел слуга-лилипуд.

— Принеси нам кофе.

— Слушаю и повинуюсь, — ответил слуга и бесшумно исчез. Дверь за ним затворилась.

— Следует ли мне понимать, что присутствие русской миссии желательно вашему величеству?

Голос Дост Мухаммеда стал жестким:

— Мне желательно присутствие в Кабуле миссий всех стран. Слишком долго жили мы в изоляции.

— В таком случае, ваше величество, вам, по-видимому, нежелательно присутствие в Кабуле представителя Великобритании!

— Россия и Великобритания дружественные государства, насколько мне известно. Почему бы вам не работать здесь об руку с русским офицером?

— Ваше величество изволит шутить?

— Я не склонен к шуткам в разговоре с вами.

— В таком случае мне придется, ваше величество...

Дверь позади эмира растворилась, и на пороге появился слуга с подносом в руках. Из маленького серебряного кофейника шел пар. Комната наполнилась ароматом. Слуга неслышно поставил поднос, поклонился и вышел.

— Хотите кофе?

— Благодарю вас, ваше величество. Сначала я хочу окончить начатый разговор. Итак, если Виткевич будет принят вами, мне придется, к великому сожалению, покинуть Кабул.

Эмир налил Бернсу в чашечку величиной со скорлупу грецкого ореха густой черной влаги и пододвинул сахарницу. Только после этого он поднял глаза на англичанина.

— Я обязательно приму Виткевича. Мне не пристало менять своих решений, Бернс. Так же, как я никогда не изменю своего решения принимать всех без исключения иностранных послов самостоятельно, не испрашивая на то унижительного разрешения у губернатора Индии... Пейте кофе, Бернс, и постарайтесь быть благоразумным. Пока что мы вдвоем, а вдвоем быть благоразумным легче, чем на глазах у тысяч.

Бернс заколебался. После молчания он повторил все же:

— Если вы примете русского, я покину Кабул.

— Как вам будет угодно, Бернс. Вы вольны в решениях. Только запомните мой совет: Наполеоном быть хорошо. Но быть плохим Наполеоном — неблагоразумно.

Глава третья

1

Поздно вечером Виткевич вышел на улицу. Властная, хищная тишина лежала над городом. Высоко в горах дрожали огни костров: шла перекочевка племен.

Виткевич услышал голос. Тихий, он приближался вместе с песней. Иван прислушался, стараясь разобрать слова.

О мой город гор,
Ты высок, как полет орла,
Мой Кабул.
Родной мой край.
Родной мой Кабул,
Ты в сердце моем всегда.

Иван пошел навстречу голосу. Ночь была прозрачна как лед. Холодная луна ярко освещала правую сторону улицы, совсем забыв о том, что существует еще и левая сторона. Посредине улицы шел человек. Высокий, он казался еще выше из-за тени, которая металась по заборам, цепляясь за ветви деревьев. Иван шагнул навстречу человеку. Тот остановился, разглядывая Виткевича.

— Салям алейкум.

— Салям алейкум.

— Как здоровье?

— Как твоё здоровье?

— Как настроение?

— Как твоё настроение? — отвечал афганец, все более и более удивляясь тому, как хорошо этот иноверец знает его язык, язык пуштунов.

— Как поживают твои друзья?

— Спасибо, как поживают твои друзья?

— Очень хорошо.

— Очень хорошо?

— Очень, очень хорошо...

Афганец помедлил и протянул Виткевичу руку. Тот сжал ее и приложил к сердцу. Тогда и афганец потянул его руку к сердцу.

— Ты кто? — спросил он Ивана.
— Человек.
— А кто ты по крови?
— Поляк.
— Не слышал я таких кровей.
Иван засмеялся.
— Русский я по крови.
— Нет.
— Клянусь отцом, русский.
— А почему ты знаешь мой язык? Твой отец, видно, был афганец?
— Нет. Он не был афганец. Я сам выучил твой язык.
Афганец пощелкал языком в знак восхищения.
Поинтересовался:
— Ты, верно, давно живешь в моей стране?
— Два месяца.
— Тогда хорошо. Очень хорошо... А что ты делаешь на улице ночью?
— Слушаю город.
— Слушать надо отца и друзей, — наставительно сказал афганец. — У тебя есть отец?
— Нет. Он ушел к отцам.
— Хвала его памяти! А друзья у тебя есть?
— На родине есть.
— А разве я не твой друг? — спросил афганец.
— Если ты согласишься пойти ко мне в дом и стать моим гостем — будешь другом.
— Я не слышал приглашения, русский.
— Будь моим гостем, афганец.
— Спасибо, большое спасибо! Пошли. Я буду твоим гостем...
Назавтра Ахмед Фазль рассказывал своим друзьям, что в Кабул приехал смешной человек.
— Он просил меня петь ему наши песни. А сам, вместо того чтобы слушать их, закрыв глаза, писал на листках бумаги. Потом он показал мне написанное им и сказал, что это слова моих стихов.
— Человек, любящий песню, рожден для счастья, Ахмед, — задумчиво сказал оружейный мастер Гуль Моманд. — Поверь мне, у этого русского большое сердце.

"Мой дорогой друг Песляк!

Памятуя просьбу твою в случае чего-либо очень уж интересного и необычного немедля отписать тебе, сажусь за стол, беру бумагу и пишу.

Есть у меня здесь один друг по имени Ахмед; по фамилии Фазль. Он высок, как и многие здешние мужчины-афганцы, красив и умен. Умен Ахмед и как взрослый муж и как маленькое дитя одновременно. Сдружился я с ним на песнях. (Не смейся. Я по-прежнему уверен, что песня — лучший паспорт для души человеческой. Плохие люди петь не могут.) Он часто ко мне приходит по вечерам и рассказывает много интересного. Заметь, тут каждый историю страны своей знает чуть не наизусть. И это несмотря на то, что людей образованных здесь почти нет.

Рассказал мне Ахмед Фазль такую историю: есть неподалеку от Кабула местечко, называющееся Чель Сутун (Сорок столбов). Зовут это место так оттого, что много веков назад туда ворвались чужеземцы. Сорок красивейших девушек, не желая сделаться добычею похотливых воинов, вознесли аллаху молитвы. Аллах услышал их: в один миг все сорок девушек превратились в сорок камней. Эту историю Ахмед Фазль рассказал мне как самую настоящую быль. Когда я попробовал усомниться в достоверности этого случая, он обиделся. Но обида его была недолгой. Я рассказал Ахмеду нашу сказку про «Руслана и Людмилу»; Ахмед прищелкивал языком от восторга и закатывал глаза — у него это считается наивысшей формой одобрения. У меня тогда мелькнула мысль, как было бы хорошо сказки пушкинские на восточные языки перевести и распространить! Ну, да разве это возможно!...

Когда я кончил говорить сказку, Ахмед защелкал языком: «Ну вот видишь, это ведь все правда. Почему же ты моей правде о девушках не поверил?» Я тогда менее уверенно возразил, что и это тоже неправда. Ахмед рассмеялся и спросил: «Зачем же ты другу неправду рассказываешь? Я тебе всегда одну только правду говорю».

Давеча пришел Ахмед со своим двоюродным братом Гуль Момандом. Я предоставляю тебе оказию самому решить степень ума этого человека по той теории, которую он мне преподавал. Слушай:

"Обилие волос на голове служит доказательством пустословия или печали. Люди, носящие длинные волосы, характер имеют исступленный, ибо исступление порождает и печаль и пустословие.

Небольшой лоб служит доказательством того, что человек груб и глуп. Большой лоб — свидетельствует о человеческих наклонностях к гневу или лени. Ежели на лбу много морщин — человек гневен, но умен. Ежели морщин совсем нет — такой человек зол. Длинные брови до ушей означают самовлюбленность и хвастливость. (Вспомни Маслова!)

Большие глаза — свидетельство лени. Голубые глаза — холод сердца, так как этот цвет происходит от холодных материалов вроде льда или неба. Маленькие черные глаза несут в себе злость. Красные — смелость. Широко раскрытые глаза и выпученные присущи людям сварливым, ибо у собак такие же глаза и такой же норов.

Желтые и скородвижущиеся глаза указывают на то, что человек пуглив. Пятнышки в глазах — нечистое сердце. Ежели вокруг зрачка черный ободок, значит человек плохо думает о других. Коли в глазах соединен желтый и черный цвет, то такой человек способен на убиение себе подобных. Красные пятнышки в глазах — величайшее лукавство. Глаза должны быть чистыми и блестящими, ибо это глаза смелых воинов. У петухов такие же глаза, а петух птица мужественная и честная.

Тонкий нос означает, что обладатель оного склонен к пустой драчливости и злости, так как у собак нос такой же в точности. При наличии носа широкого и мясистого в человеке искать должно наивность и ласковость, ибо такой же нрав у теленка, а как известно, телята широконосы. Длинный и толстый нос означает отсутствие великодушия, поелику точно такой нрав и у свиньи. Ежели нос от бровей дугою идет, то сие означает в человеке норов ворона. Злой, но умный.

Толстые губы показывают в человеке храбрость и глупость. Ежели толста верхняя губа и набегаёт при сем на нижнюю, то такой человек храбр и великодушен, ибо такие же губы и у льва. Тонкие губы означают злость и скрытую за злостью трусость.

Мясистое лицо показывает в человеке отсутствие мудрости — то же и у быка.

Объясняется это и лекарями: мозговые вены вследствие обилия тела в лице препятствуют обмену крови, и, таким образом, человек лишается смысла. Худое лицо свидетельствует о том, что человек склонен к размышлениям. Размышления, как известно, приводят к сумасшествию, а сумасшествие истощает тело вообще, а лицо в особенности. Но все же худой человек всегда лучше толстого".

Теперь, дорогой Друг, ты вооружен теорией, практически небезынтересною.

Знакомясь с новым человеком, изучай его лицо по этой записке. Шутки шутками, а должен тебе признаться, что я совершенно влюблен в эту страну и в людей ее. В их душах совмещается доблесть воинов, отзывчивость братьев и суровость горных жителей. У меня уже сейчас накопилось материалов достаточно для того, чтобы издать несколько небезынтересных книг. А в общем-то один бог знает, сколь интересны они будут. И, самое главное, будут ли вообще изданы. Один европеец, встретившийся мне здесь, доктор Гут его имя, зло иронизировал над российскими нравами, приводя в пример историю с книгой Радищева. Откуда только они знают все это?

Милый мой Песляк! Жажду обнять тебя и поговорить о многом. И — поверь мне, это уже выстрадано — нет ничего лучше дома на белом свете. Пусть даже дом с тараканами. Тараканов можно вывести, а нигде, ни в каком другом доме нельзя себя чувствовать счастливее, сильнее и увереннее, кроме как в своем отчем доме...

Сделай из этого выводы.

Остаюсь твоим Другом и Братом Иван Виткевич".

Невысокий, крепкий в плечах, похожий на отца скорее общим обликом, чем лицом или голосом, наследник Акбар-хан любил беседовать с эмиром. Образованность Акбара была случайной и складывалась из занятий с муллами, чтения корана и разговоров с иностранцами. Он был очень понятлив. Ум его проявлялся не в широких, разносторонних познаниях, но в умении цепко схватить все новое, что встречалось ему где бы то ни было.

Дост Мухаммед любовался сыном, когда тот, быстро расхаживая по кабинету, рубил воздух ладонью и отрывисто бросал сердитые фразы:

— Я знаю, что кизыл-баши, да и вообще большинство людей персидской партии при дворе неискренни. Почему ты терпишь неискренность их, отец? Ты, сильный и храбрый. Почему?

Дост Мухаммед засмеялся:

— Горячность не делает чести мужчине, сын мой. Если я начну смещать кизыл-башей, занимающих высокие посты, об этом узнает народ. Какая же будет вера мне и моим помощникам? Излишняя жестокость никогда не приносит пользы. Зачем мне сейчас смещать кизыл-башей, когда я знаю каждый их шаг? Они ничего не могут сделать помимо меня. Они не согласны со мной? Пусть. Я не могу велеть им соглашаться во всем.

— Но ведь они не любят тебя, — горячился Акбар-хан. — Они говорят, что ты излишне крут и суров!

— Вот и хорошо. Слышать это из их уст для меня блаженство. Помнишь, как писал Казем-хан? «Я сгораю в огне, но вы вьетесь вокруг меня мотыльками, не в силах оторваться от мен».

Дост Мухаммед подошел к сыну и обнял его за плечи. Никогда афганцы не выражают своих чувств открыто, кроме одного чувства — гнева. Отец всегда старается скрыть любовь к сыну грубоватой, мужской шуткой. Но сейчас они были одни: отец и сын, эмир и его наследник.

— Послушай, сын мой, — сказал Дост Мухаммед задумчиво, — мы живем с тобою в трудные дни. Я не знаю, что будет через месяц или два. Поэтому выслушай то, что я скажу тебе. Ты будешь хорошим эмиром, если главной твоей заповедью будет заповедь справедливости. Если ты справедлив до конца — убей. Но если ты справедлив — оправдай даже тогда, когда оправдание будет неудобно тебе. Если ты справедлив — одари; но если ты справедлив — брось в темницу. Чем должна измеряться твоя справедливость? Не отношением к женам или к детям. Не отношением твоим ко мне,

отцу твоему и повелителю. Справедливость — это целостность государства нашего, сила его и самостоятельность. Это справедливость! Если у тебя будет везир, который говорит тебе открыто и честно о том, что неприятно тебе, терпи его и люби. Люби, если даже не можешь любить. Такой везир не продаст себя неверным. Если начальник, ведающий финансами и налогами у тебя будет скряга, береги его, он друг твой и раб, потому что не помышляет о благости личной и о том, как относишься к нему ты, сильный в мире правозверных. Если одна из жен будет ласкаться к тебе сверх меры, изгони ее. Она неверна и продажна. Женщина не знает любви. Если к тебе придет неверный из другой страны и станет говорить, что ты самый сильный и мудрый государь, не верь ему, он лгун и в душе прячет черную мысль. Больше всего цени у людей честность в глазах и резкость на словах. Помни стихи Казема:

Если хочешь дать людям покой,
Сам спокойно не спи никогда!

Вошел адъютант. Поклонился, скользнув быстрым взглядом по лицу наследника.

— Что тебе? — недовольно спросил Акбар-хан.

— Ваше высочество, к его величеству прибыл господин Бернс с делом чрезвычайной важности.

— Пусть войдет через несколько минут, — сказал эмир.

Когда адъютант вышел, Дост Мухаммед подошел к столу.

— Я говорил тебе все это потому, что скоро отправлю письмо, — он указал пальцем на большой лист бумаги, — прочти его.

Акбар-хан взял бумагу и начал читать.

"Это мое последнее письмо к вам, лорд Ауклэнд!

Разделяя афганцев, вы пытаетесь уничтожить могущество нашего народа. Вы бросаете семена будущих раздоров. Ваше дело как большого и сильного государства препятствовать злу где бы то ни было; вы же, наоборот, препятствуете добру там, где это только возможно.

Ради того, чтобы спасти Афганистан и нашу честь, мы готовы отдать жизни свои. Не по злему умыслу против

Англии пишу я это, а потому, что правда любит, когда с ней правдиво разговаривают, Аллах тому свидетель — я не буду раскаиваться в своих поступках. Аллах тому свидетель — вы в своих поступках раскаетесь: вы и дети ваши, которые не прощают отцам ошибок, ведущих к позору.

Я в последний раз взываю к вашим сердцам — дайте нам быть независимыми, и порукой тому моя голова и сердце, — мы будем нейтральны, мы будем дружить и с вами и с теми странами, которые захотят с нами дружить.

Дост Мухаммед, эмир".

Дост Мухаммед внимательно следил за выражением лица сына, когда тот читал.

Отложив письмо Акбар-хан опустил перед отцом на колени и поцеловал его руку.

4

Опустив глаза, Джелали смотрел, как вода из кружки падала на землю. Жара была так сильна, что даже капли воды поднимали пыль. Джелали сполоснул лицо из родника, встал с колен и пошел дальше. До кабульской дороги оставалось верст пять.

Чайхану около развилки выстроили совсем недавно. Наверху пили чай, а внизу жарили кебаб и гушт. У входа было повешено старое, с синими пятнами зеркало.

Джелали посмотрел на свое отражение и строго заметил мальчику-слуге, что зеркало лжет. За последний год Джелали поседел, и ему неприятно было видеть это.

Владелец чайханы вышел навстречу гостю. Узнав Джелали, он приложил руки к груди.

— Салям алейкум, непобедимый.

Джелали было приятно, когда его узнавали, и поэтому он улыбнулся чайханщику особенно приветливо.

— Салям алейкум.

— Как здоровье?

— Спасибо, как твое здоровье?

— Спасибо, как здоровье твоих сыновей?

— Спасибо. Интерес такого человека, как ты, приносит удачу.

— Идешь в Кабул?

— Да.

— И снова победишь всех в пахлевани^[13]?

— Думать так, не испробовав силы рук противника, — похвальба. Да и потом твое зеркало... — Джелали кивнул головой в угол. — Я увидел много белых волос в моей голове, а это признак ума, но не силы...

Чайханщик по достоинству оценил столь мужественное остроумие. Хлопнул легонько ладонью о стол. Подбежавшему мальчику-слуге сказал:

— Принеси нам чаю. С сахаром в кусочках, не слишком мелко колотых.

Большая головка сахару — угощение для самых знаменитых путников. Джелали знал это. Поэтому благодарность его была столь искренна, что чайханщик даже закрыл глаза от восторга.

...Каждый раз, когда Джелали подходил к мазари-шерифским воротам, у него начинали потеть ладони от волнения. Он приходил в Кабул вот уже пятнадцать лет подряд, но каждый раз его ослепляли огни иллюминаций, зажженные в честь праздника, и оглушали голоса многих тысяч людей, пришедших со всех концов страны.

Джелали допоздна гулял по городу, заходил в лавки, присматривая подарки сыновьям и внукам. А когда с Гиндукуша спустились белые облака и хлопковыми горами навалились на город, Джелали спустился к реке, расстелил на теплых, прогретых дневным солнцем камнях свою бурку, лег, укрылся полой и уснул.

Рано утром он уже был на огромной площади Чамане, как раз в том месте, где всегда собирались самые известные в стране борцы. Соперником Джелали оказался Ибрагим Али — молодой парень из Газни. Он был на полголовы ниже Джелали, но шире в плечах. Когда они вышли на середину поля, зрители дружно зааплодировали.

Джелали поклонился и, подтянув кушак, обернулся к противнику. Тот смущенно улыбался и не знал, куда деть руки. Джелали заметил, что у парня толстые губы.

«Это признак доброты души, — подумал Джелали, — таким, как он, нельзя бороться».

Парень почесал затылок и, широко расставив ноги, стал в исходную позицию.

Джелали тоже согнулся и, уперев руки в колена, начал раскачиваться, переступая с ноги на ногу. У Ибрагима стойка была

низкой, и Джелали решил, что парня можно будет обхватить сверху.

Первым вытянул руку Ибрагим. Джелали сделал вид, что ничего не заметил. Но когда Ибрагим выбросил руку вперед еще раз, Джелали намертво схватил ее своими длинными, тонкими пальцами. Парень рванулся назад и стронул Джелали с места.

Увидав это, парень рванулся еще сильнее, потом стремительно вперед, и Джелали почувствовал руки парня на своей пояснице. Джелали растерялся. На какую-то долю секунды мускулы ослабли. Ибрагим поднял его и с силой бросил на землю. Джелали успел расставить ноги, и удар пришелся на правую. Надсадно заныло колено. На лбу выступил пот. Джелали не успел толком осмыслить происшедшего, потому что парень снова поднял его над собой и снова грохнул о землю. С головы упала тюбетейка, и Джелали почувствовал, как солнце начало плавить волосы на затылке. «Почему я не выпил воды? — подумал он. — Такая холодная...»

Джелали постарался высвободить левую руку, чтобы локтем отжать подбородок парня, но не смог. Тогда он напряг тело и начал извиваться в руках Ибрагима. Тот еще крепче сжал его и, медленно дрожа набухшими мышцами рук, начал сгибать. Джелали увидел небо: высокое и спокойное. Потом он опустил глаза и увидел красное, мокрое лицо парня. Их глаза встретились. Мгновенье Ибрагим Али смотрел в лицо Джелали. Он увидел в его бороде и бровях седые волосы. Он увидел морщинки у глаз и стянутую кожу у мочек ушей.

Победитель никогда не должен смотреть в глаза побежденному. Ибрагим Али увидел в Джелали отца. И он разжал руки.

Судьи объявили победу Джелали. Ибрагим медленно уходил с поля. Джелали пожал руки судьям, поднял тюбетейку и побежал вслед за ним. Догнав парня, он обнял его за шею и прошептал:

— Я не приду сюда больше, победитель...

И когда народ на площади увидел, как Джелали трижды по-мужски поцеловал Ибрагима Али, все еще раз убедились, как силен и великодушен человек, которого так любят в Кабуле: Джелали-победитель.

...В афганском языке нет слова «старик». Когда человеку много лет, его называют «спингырай», что в переводе означает «белобородый».

Когда Джелали и Ибрагим Али выбрались из толпы, к ним подошел невысокий, крепкого сложения юноша и, приветливо

поздоровавшись, попросил:

— Я хочу, чтобы вы оба стали моими гостями.

— Кто ты? — спросил Джелали.

— Меня зовут Акбар^[14], я учусь быть сильным...

— По виду ты пока еще больше походишь на Кабира^[15], — пошутил Джелали.

— В твоих устах и это звучит похвалой, — ответил Акбар.

— Пойдем к нему? — спросил Ибрагим Али своего старшего друга.

— Пойдем, — согласился Джелали, — почему не пойти?

С этих пор Ибрагим Али и Джелали стали мюридами, телохранителями эмира Дост Мухаммеда и большими друзьями Акбар-хана, наследника престола.

5

Перед тем как эмир собрался идти гулять — после дня трудов он обязательно уходил в горы, — к нему в кабинет неслышно проскользнул адъютант, склонился низко и, приблизившись, положил на край маленького, сандалового дерева стола листки бумаги, скрепленные красным воском.

— Что это? — недовольно спросил эмир. — Неужели не мог принести завтра?

— Подари хотя бы один взгляд этой бумаге, повелитель, — ответил адъютант, — здесь о русском...

Дост Муххамед относился к своему адъютанту Искандер-хану со смешанным чувством любопытства, благожелательства и недоверия. Может быть, именно поэтому он говорил с Искандером откровенно, а подчас и просто доверительно. Но доверительность эмира простиралась ровно настолько, чтобы иметь возможность наблюдать; что особенно интересовало адъютанта, а что — не особенно. В последнее время эмир заметил, что самый большой, подчас неприкрытый интерес Искандер-хан проявлял к русскому.

Свое любопытство к Искандеру эмир объяснял себе тем, что адъютант был ловок, силен, хитер и в отличие от подавляющего большинства придворных не столь раболепен и льстив. Дост Муххамед любил играть в шахматы, но удовольствие от игры получал только тогда, когда противниками его были Акбар-хан либо Искандер.

И тот и другой отчаянно сопротивлялись эмиру, не делали намеренно глупых ходов, радовались всякой выигранной фигуре, искренне сокрушались проигрышу. Эта на первый взгляд ничего не значащая черта адъютантского характера заставляла эмира быть особенно к нему внимательным: в широком и узком смысле этого слова. Где-то в глубине души Дост Мухаммед верил, что когда-нибудь адъютант сам придет к нему и расскажет все, что его тяготило. А в том, что Искандера, особенно в последнее время, тяготило что-то, эмир был уверен. Все то время, пока Искандер был рядом, эмир старался понять его, а поняв, сделать вывод, всесторонне подтвержденный фактами.

— Ты подобен гончей, — сказал Дост Мухаммед адъютанту, — гоняешь меня до тех пор, пока не добьешься своего.

— Свое — это ваше, повелитель.

— Мое? — переспросил эмир и быстро глянул в адъютантовы огромные глаза.

...В докладе говорилось о том, чем был занят русский посланник в течение трех последних дней.

— Кто велел следить за ним? — удивился эмир. — Кто, кроме меня, мог отдать такой приказ? Он гость, а плох тот хозяин, который смотрит, сколько кусков мяса положил в рот приезжий.

— Тут не о мясе речь, ваше величество. Он гость — так сиди в своем доме, пей шербет и радуйся жизни! А русский с утра до ночи ходит по базарам, улицам и площадям, говорит о разном...

— О чем говорит?

— О всяком, — повторил Искандер.

— Вспомни, о чем? Можешь вспомнить?

— Он говорил, что в мире есть два льва. Это Россия и ваша страна. И что Россия — это лев, а Афганистан — львенок малый, и что лев львенка всегда защищать должен...

Дост Мухаммед прошелся по кабинету, потом стал перед адъютантом и толкнул его пальцем в грудь.

— Сядь.

Искандер-хан сел.

— Кто сказал тебе об этих словах русского?

— Аль Джабар.

— Где он слышал их?

— В лавке... Кажется, в лавке.

— В какой лавке?

Искандер замешкался.

— Ну! — прикрикнул эмир.

— Кажется, в лавке Гуль Моманда, оружейника.

— Та-ак... — задумчиво протянул эмир и снова неторопливо заходил по кабинету.

Ходил долго, минуты три. Потом остановился перед адъютантом и спросил шепотом:

— Ты зачем врешь мне, Искандер?

Адъютант стал желтеть. Когда он волновался, лицо его не бледнело, а делалось серо-желтым.

— Я не вру, повелитель.

— Ты врешь мне, — повторил эмир, — только не понимаю зачем.

Подошел вплотную к Искандеру и, взяв его за кушак, приблизил к своей груди:

— Зачем, ответь мне?

— Я не вру, повелитель.

— И ответь мне еще, Искандер: почему ты не дал аудиенции русскому, когда тот пришел к тебе в приемную в первый раз? И почему ты не пропустил его ко мне позавчера? Ответь мне...

Адъютант смотрел в лицо эмиру и молчал.

Гуль Моманд поднял голову и тотчас же опустил. Отложив в сторону маленький молоток, поднялся; перед ним стоял эмир Дост Мухаммед, переодетый в костюм воина. Чуть позади, заслоня своей могучей квадратной спиной почти всю дверь, врос в пол телохранитель эмира, мюрид Ибрагим Али.

Гуль Моманд пошел навстречу гостю, поздоровался с ним. Веселый ум оружейника подсказал ему верное решение: коль скоро эмир пришел к нему не в пышных одеждах, не с многочисленной свитой, а всего-навсего простым воином, то и обращаться с ним следует учтиво и почтительно лишь постольку, поскольку он гость. Обменявшись с эмиром рукопожатием, Гуль Моманд предложил ему садиться. Когда Дост Мухаммед опустился на раскладной стульчик, стоявший около полировальных каменных кругов, присел и Гуль Моманд.

— Устраивайся и ты, — предложил он Ибрагиму Али.

Мюрид отрицательно покачал головой и усмехнулся уголками губ.

— Здесь могут быть те, кто жаждет увидеть нас с тобой, — сказал эмир. — А сейчас я должен видеть тебя, потому что мне надо

поговорить с тобой, Гуль. И пусть наша беседа, после окончания ее, сотрется в пыль, которая улетает в небо во время твоей работы за полировальными камнями.

— Твоя наблюдательность, воин, радует глаз мастера.

Дост Мухаммед рассмеялся, открыв ровные, не тронутые табачной копотью зубы. Пошутил:

— Ты хитер, как Рудаки. Быть тебе везиром.

— А я уже везир.

— Отчего так?

— Оттого, что в моей мастерской бывают гости из разных стран.

— Ты глядишь в будущее, словно в воду большого отстойного хауза.

— Будущее имеет разную меру.

— Наша мера — мера минут, и плох тот кот, который слишком долго ловит мышь.

— Я вижу здесь воина, его друга и оружейного мастера, — быстро ответил Гуль Моманд, — но я не вижу здесь ни кота, ни мыши, да простится мне несообразительность ремесленника.

Эмир рассмеялся от души. Потом поманил к себе Гуль Моманда пальцем и спросил:

— Русский — плохой?

— Хороший везир с плохим чужестранцем долго игру не играет.

Когда Дост Мухаммед чему-либо сильно удивлялся, у него обиженно опускались уголки губ, а брови вскидывались высоко вверх, собирая кожу на лбу толстыми складками.

— Ты слышишь, Ибрагим Али? Этот человек воистину везир и в отличие от большинства людей подобной должности мудр.

— Единственное, что не нуждается в красивом определении и не поддается измерению, так это мудрость, — заметил Гуль Моманд.

— А мудрость русского измерима?

Гуль Моманд не торопился с ответом. Он долго думал, прежде чем стал говорить.

— Воин, верь мне, он добр сердцем и широк умом. Велика ли мудрость его — не ведаю. Думаю, что не очень. Мудрым человек делается к старости. Но человек, ясно видящий цвет утра и сумерек, верно ощущающий снег и жару, должен называться умным. Ум — первая ступень в великой лестнице мудрости.

— Говори, — попросил эмир, — говори дальше, друг.

— Наш народ не верит речам, — пошутил Гуль Моманд. — Ведь речь-порождение языка, а язык — оружие женщины. Русский мало говорит, потому что больше он любит слушать. Он любит слушать наши песни. Песня — зеркало души, окно в сердце. Так?

— Да, это так, — ответил Дост Мухаммед.

— А этот русский понимает и любит наши песни. Больше я ничего не знаю о нем, но и этого хватит, чтобы отвести ему место в душе.

— О львах, помнишь, он говорил о льве и львенке? — спросил эмир рассеянно. — Ты согласен с ним?

— Он честный человек, этот самый русский, он не стесняется переспросить, когда не понимает названия места или зверя. Но о львах у нас разговора пока что не было.

В это время Ибрагим Али, все так же неподвижно стоявший в дверях, сердито обернулся. Замахнулся на кого-то, кто подошел к входу в мастерскую.

Гуль Моманд обиженно поджал губы.

— Если ты слуга воина, так пусть аллах поможет тебе в твоей службе. Но ты у меня в гостях, а я буду плохим мусульманином, если разрешу тебе обидеть того, кто пришел к моему дому. Ну-ка, повернись! Кто там позади тебя?!

Ибрагим Али не сдвинулся с места. Тогда эмир сказал:

— Обернись и посмотри.

Мюрюк обернулся. На пороге стоял Иван Виткевич.

6

"Дорогой Песляк!

Целую ночь напролет сижу подле растворенного окна и слушаю, упиваясь тишиной.

Здесь, в Кабуле, она особенная. Город спит настороженно, словно солдат на привале.

А утро! Бог мой, какое здесь утро! Сначала по ущелию, в коем лежит Кабул, начинают летать голуби. На фоне серых скал они кажутся то черными, то темно-синими.

Солнце приходит внезапно. И сразу же картина меняется. Горы делаются серыми, а голуби белыми,

словно снег. Настороженность во всем пропадает — на смену ей приходит беспечность и ласковость.

Просыпается Кабул сразу. В час первой молитвы на минареты поднимаются муллы и, воздев к небу руки свои, они обращают к аллаху, великому и всемогущему, звонкие, высокие голоса. Слова их молитв сливаются в одно целое, и звук этот, усиленный горами, делается совсем не похожим на людские голоса. И сразу же после молитвы Кабул начинает шуметь, словно шмель с первым лучом солнца, или ученики в классе после ухода наставника.

На рынок тянутся тележки с горами дынь, гранатов, кавунов, яблок, груш. Бегут наперегонки босоногие мальчонки, запуская в небо, к голубям бумажных змиев.

Спешат к реке стиральщицы, ловко уместая на головах своих огромные тюки с бельем и материями всяческими.

Когда открываются городские ворота, в Кабул входят караваны — длинные, как песнь кочевника. Ах, сколько радости, Песляк, для жителей, а особенно мальчишек в приходе каравана из далеких стран!

А в семь утра базар уже шумит так, будто никто из торговцев, а тем более покупателей, вовсе не ложился спать. Все кричат, бранятся, грозно размахивают руками, а в лица всмотришь — у всех улыбка сокрыта веселая... Жизнь без возгласов, без жестов тут немыслима. Торговля идет бойко, весело. Но трудно им из-за купцов-менял, приехавших из других стран, да и потому еще, что товаров своих, афганских, кроме сладостей, сабель да патлюнов — штанов ширины невообразимейшей — нет вообще.

...События, в центре которых оказался здесь я, необычны и интересны, как и все в общем-то в стране этой. Не должно заниматься восхвалением персоны собственной, однако ж не могу не сказать тебе о том, что большой порок юности, упрямством называемый, в зрелые годы приводит к достоинству, которое зовется стойкостью.

Юношеское мое упрямство в изучении восточных языков дало мне сейчас великую радость: чувствовать язык афганцев и персов точно так же, как и свой родной.

В первые дни после прибытия при всем самом радушном гостеприимстве; которым здешний народ отличается, я почувствовал кое-где настороженное, если даже не враждебное ко мне, отношение. В этом, бесспорно, заслуга досточтимого Бернса.

Услыхал я, будто в беседе Бернс вскользь говорил о том, чего в действительности не было да и не могло быть. Пока слово не сказано — оно узник человека.

Сказанное же слово делает человека своим узником. Как только сэр Бернс сказал о том, что Россия — медведь, на задние лапы поднявшийся, готовый под себя все окрест лежащее подмять, и как только слова эти стали мне известными, я посчитал себя вправе опровергнуть сию ложь в беседе с эмиром Дост Мухаммедом. Ложь, надо сказать, лихую, по-английски тонко и к месту закрученную. Но попасть к эмиру оказалось делом отнюдь не легким. Неоднократные предложения Бернса пойти к эмиру вместе с ним я по причинам, тебе понятным, отвергал. Сам же я всякий раз наталкивался на вежливый отказ эмирова адъютанта: то Дост Мухаммед читает бумаги, то гуляет в саду, то занят беседой с друзьями.

Но давеча — хитрая вещь жизнь наша — я при обстоятельствах весьма неожиданных с эмиром встретился. И где бы ты думал? В мастерской оружейного мастера Гуль Моманда, того самого, о котором я отписывал в предыдущем письме к тебе. Придя к нему в гости, я столкнулся с человеком, лицо которого показалось мне чем-то знакомым.

— Это воин, мой приятель, — пояснил Гуль Моманд, — он и твоим другом станет.

— Здравствуй, — сказал воин и пожал мне руку крепко. — Ты откуда? Из каких мест? Судя по костюму, ты с юга?

— Да, — ответил за меня Гуль, — он кандагарец. (Замечу, кстати, что кандагарцы — самые «чистые» афганцы по крови.)

— Разве ты не слышишь этого по выговору? — продолжал Гуль Моманд.

— Да, пожалуй, — согласился его гость, — он говорит, как настоящий кандагарец. А имя твоё, —

спросил он меня, — столь же благозвучно, сколь и выговор?

— Столь же, — ответил за меня Гуль Моманд.

Мне очень понравилась эта беззаботная игра, и я с радостью стал ее поддерживать.

Отчего-то лицо гостя мне показалось похожим на лицо одного купца с базара. Я спросил его:

— Ты не торгуешь ли, воин?

— Торгую, — ответил тот, — немногим из того, чем мог бы.

— Отчего так?

— Оттого, что неведомо мне, кто товары мои купит.

Я тогда ответил:

— В России, — ты, верно, слышал о такой стране, — там многие бы товары афганские купили.

— Откуда тебе это известно?

— Говорят люди: верь незнакомцу, ему корысти нет обманывать.

Гость посмотрел на Гуль Моманда и спросил:

— Твой кандагарец, случаем, не мулла? Он так хорошо постиг красоту выражения мысли.

— Нет, какой он мулла, — ответил Гуль, — ты же видишь, у него борода стрижена клином, а не палкой.

Воин осмотрел мое лицо с веселой и шуточной внимательностью и согласился с правильностью слов Гуль Моманда.

— Послушай, кандагарец, а как ты думаешь, ангризи хотят торговать с нами? Что я смогу продать им?

— Я недостаточно хорошо знаю купцов из Англии, — ответил я, — но думаю, они не откажутся торговать с тобой. Торгуют же они с Индией.

— С Индией?! — воскликнул мой собеседник. — Такой торговли мне не надо. Козел тоже участвует в торговле шкурой, содранной с него. Разве ангризи торгуют с Индией? Такая торговля и у нас ночью на караванных дорогах случается.

— Ты очень сердит на англичан, — заметил я, — а слова, произнесенные в гневе, не всегда верны.

Воин взял с верстака маленький кинжал, вернее — заготовку кинжала, и, вертя его в руках, задумчиво

посматривая на Гуль Моманда, сказал:

— Он не просто умен, Гуль. Он мудр.

— Да, я ошибался, — ответил ему оружейник.

Я почувствовал, как лицо мое стало краснеть от смущения. (Страшный бич мой!)

Увидав это, воин мягко улыбнулся и опустил глаза. Я был благодарен ему за это: вообще афганцы люди большого такта и — ежели хочешь — светского воспитания. Мы, правда, привыкли понимать под словом «светский» только одно и одним наделять значением. Это неверно. Думаю, что светским следует считать джентльменское воспитание.

— Послушай, кандагарец, — продолжал купец, — а как говорят в городе о том, что здешний эмир, Дост, неверных англичан принимает, разговоры с ними ведет?

— На то он и эмир, чтобы знать, кого и зачем принимать, — ответил я, — да только не твоего ума это дело, да и не моего. Извини меня за резкость слов.

— Как же так? — с живостью возразил мне гость. — От того, с кем эмир наш дружит, мне выгода идет. От меня — к ремесленникам, к простому люду. Чем шире торговля идет, тем больше блага людям, добро производящим.

Я сразу же подумал: «Как сильна в нас российская привычка мысли свои вслух не высказывать! Я и здесь даже, за тысячу верст, продолжаю ей верным быть, а простой афганец обсуждает действия своего правителя свободно и без боязни».

— Согласен ли ты с правильностью слов моих? — стал допытываться гость.

— Верно ли я говорю?

— Да, верно, — ответил я.

Тогда гость вздохнул облегченно и сказал:

— И ты говоришь верно, кандагарец из России.

Я сначала рассердился и сурово посмотрел на Гуль Моманда.

— Ты не смотри на оружейника, — засмеялся гость, — он ни в чем не повинен. Здравствуй друг, — протянул он мне руку, — меня зовут Дост Мухаммед, я эмир.

Вот так, дорогой Песляк, началось мое знакомство, а теперь можно сказать — и дружба с этим чудесным человеком.

Об остальном — когда вернусь.
Твой Друг и Брат Иван Виткевич".

7

После разговора с русским Дост Мухаммед убедился, что Искандер-хан неискренен и не просто так, не из-за пустой неприязни к Виткевичу, а в силу каких-то других, скрытых, неизвестных ему, эмиру, причин. Он понимал, правда, что та игра, которую вел адъютант, выдумана не им самим и рука автора, написавшего правила игры этой, куда искусней языка исполнителя.

Окажись Виткевич хоть чем-то, хоть самую малость похожим на Бернса, эмир никогда бы не заподозрил своего адъютанта в таком страшном грехе, каким на Востоке считается двойная игра.

Искренняя доброжелательность русского к англичанам, высказанная в беседе с простым воином и купцом-не эмиром! — позволила Дост Мухаммеду сделать первые выводы, которые в дальнейшем привели к важным последствиям.

Эмир хорошо знал Бернса, ценил его ум, обширные знания, но сейчас он не мог простить англичанину те семена недоверия, которые тот пытался посеять в его душе. Недоверие, страшная кара властвующим — до той поры не было знакомо Дост Мухаммеду. Узнав его, он понял, что в лице окружавших его имеются не только скрытые недоброжелатели, завистники, но и просто враги. Худшее, что могло случиться, — случилось бы, поддайся эмир воздействию этого властного, отталкивающего, восхитительного и гадкого чувства недоверия к человеку. Но Дост Мухаммед был силен духом и добр сердцем. Два эти качества делают государственного деятеля стойким к переменам судьбы, мужественным в горестях, осмотрительным в радостях и счастливым от созерцания плодов труда своего, не удобренного невинной человеческой кровью.

Однажды Виткевич допоздна засиделся у казаков, сопровождавших его в Кабуле.

Есаул Гнуцкий, улыбаясь заглядывая в лицо Ивана своими синими круглыми глазами, спрашивал:

— А вот скажите мне, ваше благородие, отчего у людей кожа цветом рознится?

— Так бог велел, — ответил кто-то из казаков, — у него, значит, свое соображение было, кому какой цвет носить.

— А вот мне тут один афганец говорил, будто в Инд-стране совсем черные ликом есть. Я ему верю, — как бы удивляясь самому себе, продолжал Гнуцкий, — афганец врать не умеет. Он все по чести говорит, без лукавства.

— Зачем же ему врать, афганцу-то? Врать отродясь никто не должен.

— Смешной ты человек, есаул, право слово. Это мы врать не должны, христиане, а они-то чужаки, нехристи.

— То, что нехристи, это правда, — согласился есаул. — Я вот когда отправлялся сюда, так великий страх испытывал. Ото всех, понятно, таился, чтоб в смех не подняли: мол, Гнуцкий вояка хорош! Чужих земель испужался! А как сюда приехал да пообжился, так понял, что афганцы, нехристи эти, предушевного сердца люди. На базар пойдешь, так упаришься весь, подарки принимая. А поди-ка не прими. Обидится до самой последней крайности. Чудные, ей-богу. У самого зад голый — так нет же, все тебя норовит угостить, ублажить. А корысти у него в этом — ни-ни. Да и какая у афганца корысть? К земле-то он не привязан... Сегодня здесь, а завтра сел на коня и айда в степь.

— Не в степь, — улыбнулся Иван, — а в горы.

— Тьфу ты, — рассердился Гнуцкий, — все как языку привычной бухаю.

Седой рыжеусый казак со шрамом на подбородке раздумчиво сказал:

— Простой человек — он всегда душевный. Хоть христианин, хоть самая последняя нехристь. Афганец чужому богу молится, крест увидит — отплюнется, а сердцем иному православному в образ поставлен быть может.

Нахмурившись, Иван припоминал, где он слышал такие же, почти совсем такие же слова.

— Я это к тому, — говорил рыжеусый, — что человек на всем белом свете нутром одинаков. А на морду-так и у нас в России уж такие, не приведи господи, хари попадаются — окрестишься, а все одно страх берет.

— Это ты что, на черномордых кивок делаешь? — поинтересовался Гнуцкий.

— Да не, — поморщился рыжеусый, — я те про то и толкую, что не в морде да не в цвете дело. Ежели я конопатый, к примеру,

так что, я не человек? Аль белолицый, словно сметаной вымазанный. Ты не смейся, на север-стороне такие люди есть, рожей как луна зимняя. Ей-ей! А люди хорошие, чистые. Вроде тутошних, афганских.

«Вспомнил, — обрадовался Иван. — Ведь Ставрин мне то же самое говорил!»

И Виткевич слушал неторопливый разговор казаков и радовался тому, как широко и добро сердце простого русского человека.

8

Часто во время бесед с Виткевичем Дост Мухаммед приглашал сына своего Акбар-хана. Стройный, сильный юноша садился подле отца и внимательно слушал все, о чем говорили эмир с русским гостем. Акбар-хан все чаще и чаще замечал, что отец с русским делался совершенно иным, не похожим на того эмира, который разговаривал с Бернсом. Однажды, незадолго до прихода Виткевича, Акбар-хан спросил:

— Скажи, отец, ты очень гневаешься на ангризи?

— Как бы я ни был сердит на человека и недоволен им, — ответил Дост Мухаммед, — всегда в сердце своем я оставляю место для примирения с ним.

Акбар-хан улыбнулся:

— О, сколь ты мудр...

— Ровно столько же, сколь и ты... — Дост Мухаммед помолчал, хитро прищурился и закончил: — будешь в мои годы.

Виткевич подчас чувствовал себя неловко до крайности: он не привык, он считал незаслуженным тот почет, которым стал окружен с тех пор, как эмир в присутствии приближенных своих назвал Ивана своим «большим другом».

Каждый раз, присутствуя при беседах эмира и русского, Акбар-хан видел, что Дост Мухаммед, наученный горьким опытом с англичанами и посланниками властителя сикхов, ставил вопросы таким образом, что ответы на них исключали возможность двоякого толкования. На вопросы эмира нельзя было дать иного ответа, кроме как решительного «да» или столь же решительного «нет».

— В чем сила государства нашего? — спрашивал Дост Мухаммед и требовательно, строго смотрел в глаза Ивану.

Тот отвечал так же кратко и строго:

— В целостности Афганистана, в единстве всех земель его — от Кабула до Герата.

Эмир поднимал левую, более широкую, рассеченную шрамом бровь и выразительно посматривал на сына. Акбар-хан сразу же вспомнил, что на такой же вопрос Бернс ответил: «В уме великого Доста, отца и друга всех правоверных, в его дружбе с Англией и в могучей силе наследника — славного воина, мудреца и силача Акбара».

Вообще в отличие от Виткевича Бернс в начале своей востоковедческой карьеры сделал один неверный вывод, который мешал ему потом всю жизнь. Бернс был твердо убежден в том, что лучший язык в разговорах с азиатами — язык пышноречивой персидской мудрости, исполненный намеков и иносказаний. В том же, что он несравненно выше всех этих афганцев, персов и индусов, Бернс никогда и не сомневался, вернее — такой вопрос никогда не приходил ему в голову. Поэтому в его речах проскальзывала снисходительность, а порой фамильярность. Дост Мухаммед однажды сказал ему:

— Не веди себя фамильярно ни с тем, кто выше тебя, ни с тем, кто ниже. Тот, кто выше, не ровен час, разгневается. Кто ниже — совершить может нечто для тебя опасное, возомнив себя тебе равным.

Бернс почувствовал себя неловко и, чтобы скрыть это, ответил шуткой:

— Спросили у царевича: «Кому из своих друзей царь приказал заботиться о тебе?» А царевич возразил: «Царь поручил мне самому заботиться о них».

Ответ был дерзким. Но Дост Мухаммед оценил по достоинству остроу и ответил с улыбкой:

— Все это так, но у меня седых волос больше, чем у тебя. Поэтому мой совет тебе следовало бы принять, а не превращаться в розовый куст, шипами усеянный.

В отличие от Бернса Виткевич говорил с Дост Мухаммедом откровенно, прямо, меньше всего заботясь о расцвечивании речи своей мудреными эпитетами и метафорами. Он справедливо полагал, что в беседах с умным человеком не следует казаться умнее или хитрее, чем есть на самом деле. Всегда и повсюду самим собою следует быть.

Искренность, как полагал Виткевич, всегда должна быть искренностью, вне зависимости от обстоятельств, места или людей,

тебя окружающих. Поэтому в беседах с афганскими друзьями он говорил то, что считал нужным говорить, не считаясь с тем, приятно это собеседникам или, наоборот, больно.

Вот именно за это качество Дост Мухаммед полюбил Виткевича и относился к нему не просто с благожелательством, но и по-настоящему дружески.

9

По долгу своей дипломатической службы Иван был обязан еженедельно посылать в Санкт-Петербург отчет обо всем происходившем в Афганистане. Это была, пожалуй, самая трудная для него задача.

Петербург требовал обобщенных стратегических данных. Виткевич же отсылал скудные сообщения, окрашенные его отношением к афганцам. Это сильно вредило Виткевичу.

Чиновники азиатского департамента пожимали плечами; «Чего можно ждать от неверного ляха, попавшего к диким афганцам?» Поэтому друзья из Петербурга советовали Ивану:

«Да объясните же им, Виткевич, что нам дружба с афганцами нужна, а не холодное и равнодушное запоминание виденного и слышанного. Должно узнать душу народа, нравы его, обычаи — словом, то, что вы пытаетесь делать, — для того, чтобы истинную дружбу завязать».

Но Виткевич считал, что объяснять очевидное — оскорбительно не столько для него, сколько для того народа, который стал ему по-братски близок.

«Мерзавцы, — думал Иван, — равнодушные сердцем твари! Им ли делами восточными заниматься, где все — горение и страстность, где все — братская дружба или открытая вражда...»

Глава четвертая

1

С адъютантом эмира Бернс встретился под вечер на пустынной в этот час мазари-шерифской дороге. Поздоровавшись, Бернс спросил:

— Что нового?

Не отвечая, Искандер-хан отъехал в сторону, к ручью, поросшему частым кустарником. Он не спешил с ответом. Осмотревшись по сторонам, Искандер-хан хотел было просмотреть и кусты, но Бернс остановил его шуткой:

— Такой мужественный воин и такая женская осторожность...

— Осторожность всегда нужна, — ответил адъютант, — а особенно тогда, когда дела плохи.

— Что так?

— Эмир проводит с русским много часов работы и досуга. Они говорят на пушту, и мне невозможно понять их, хотя я и пытаюсь подслушивать. Ведь я перс.

— Пора бы выучить язык афганцев, — поморщился Бернс.

— Меня устраивает мой язык, — огрызнулся Искандер-хан. — Но я не об этом хотел говорить с моим другом. Я хотел бы передать тебе мнение некоторых моих друзей. Вслушайся и пойми смысл того, что скажет сейчас мой язык... Наша страна похожа на женщину — так прекрасны ее земли и реки. Но у этой женщины есть муж. С ним она сильна, очень сильна. Имя мужа тебе известно: я служу ему. Так вот, если замужняя женщина подобна твердыне...

Бернс улыбнулся. Адъютант понял эту улыбку по-своему.

— Я говорю о женщинах Востока...

— Полно, друг мой, — засмеялся Бернс, — я ведь не о том. Моя улыбка — дань мудрости, скрытой в твоих словах.

Искандер-хан был польщен.

— Но если, — продолжал он, — женщина останется без мужа, то, я уверен, прекрасная вдовушка добровольно отдастся тому, кто захочет ее взять, А она очень лакома.

— Ну, а если этой вдовушкой хочет завладеть один, а другой ему мешает в этом? — поднял бровь Бернс.

— Другого убирают. Это пустяки.

— Меня сейчас интересует именно этот пустяк. Он может быть приведен в исполнение?

— Хоть завтра.

— Завтра?

— Хоть завтра, — повторил адъютант, широко глядя на Бернса желтыми навывкате глазами.

— Хорошо. А есть ли смельчак, который согласится убить моего соперника и взять у него все те бумаги, которые хранятся в двух сундуках?

— Такой смельчак есть, — опустив голову, сказал Искандерхан.

— Тот, кто любит хороших вдов, не забудет услуги смельчака, — пообещал Бернс.

— Смелчак не сомневается в этом.

Бернс и адъютант обменялись рукопожатием.

— Я надеюсь, — сказал Бернс, — что ты познакомишь меня с теми, кто думает так же, как и ты?

— Об этом смелчак переговорит сегодня же.

...Когда всадники выехали из своего укрытия и неторопливо поехали к городу, из кустарника выполз оборванный нищий. Посмотрев вслед все уменьшавшимся Бернсу и адъютанту, он злобно сплюнул и побежал по направлению к мазари-шерифским воротам. А оттуда до эмировой крепости Бала-Гиссар рукой подать.

2

Ночью Бернсу снилась Мэри, молоденькая жена полковника Грэя, их соседа по имению в Шотландии. Всегда строгая и холодная, сегодняшней ночью она пришла совсем нагая под его окна и прошептала:

— Александр, я вдова, Александр.

Бернс прокрался к занавеси и смотрел на нее в щелку, опьяняясь зовущей красотой женщины. Потом он открыл окно и хрипло сказал:

— Иди скорей, я жду.

Мэри вздрогнула и, прикрыв рукой грудь, пошла к нему.

Задохнувшись, Бернс проснулся. На улице шумел ливень.

3

Той же ночью Виткевича разбудил стук в дверь. Он открыл глаза: за окном занимался серый рассвет. По подоконнику ходили голуби и сонно ворковали.

— Кто там? — спросил Иван, поднимаясь с постели.

— Открой, именем эмира!

Иван набросил халат и отворил дверь. На пороге стояли два воина. Один из них протянул Ивану записку. Иван засветил свечу и прочел:

«Русский друг! Делай все так, как тебе скажут Джелали и Давлят. Эмир Дост».

— Что я должен делать? — спросил Виткевич.

— Следовать за нами, — ответил старший мюрид эмира Джелали.

Когда Виткевич оделся и пошел следом за Давля-том к коням, Джелали подбежал к кровати и положил одеяло так, как будто человек спал, укрывшись с головой. После этого он распахнул окна и побежал следом за всеми.

4

— Куда же мы все-таки едем? — не выдержал Виткевич.

Они уже проскакали никак не меньше пятнадцати верст. Природа становилась все глуше, и даже начинавшийся рассвет не делал ее веселей: мрачные скалы налезали со всех сторон, словно стараясь раздавить путников.

Джелали повернул к Виткевичу разгоряченное лицо и засмеялся.

— Мы едем на охоту. Ловить архара.

Светало все более и более. В небе еще тлели звезды, а горы уже приняли дневные очертания и стали из черных серо-коричневыми. С Гиндукуша поползли огромные снеговые тучи. С каждой минутой вокруг рождались все новые и новые звуки. То, мягко шурша атласными крыльями, пролетала стайка голубых горных голубей, то жужжал шмель, торопившийся дожить последние дни своей недолгой жизни, то где-то наверху осыпались камни: звери возвращались с водопоя.

Виткевич пожалел, что не знал музыки; на глазах рождалась изумительная, тонко звенящая мелодия утра.

Облака из белых становились ярко-красными, потом снова белыми, все вокруг оживало, и, ослепляя брызгами своих лучей, из-за гор выползло багряное, улыбающееся солнце. Пришло утро.

— Ну вот и все, — сказал Джелали, — приехали.

По склонам гор, непонятно как прицепившись к выступам серых скал, стояли домики, сделанные из коричневой глины, с узкими бойницами окон. На плоских крышах лежали сушеные фрукты, и от этого в селении стоял чуть горький запах. По улице, которая начиналась высоко в горах и спускалась вниз по ущелью, весело звеня, неся голубой поток.

— Ты будешь жить у Фатех-джана два дня, — сказал Джелали, обернувшись к Виткевичу. — Это мой друг. Он делает рабабы для ашугов, которые слагают песни гордости и любви.

Фатех-джан поднялся навстречу пришедшим, обнялся с Джелали и Давлятом, внимательно посмотрел на Виткевича и жестом пригласил всех в дом.

— Он понимает наш язык, — кивнул Джелали на Ивана, — и любит слушать наши песни.

Фатех-джан улыбнулся:

— Друг моего друга, понимающий мой язык, вдвойне дорог сердцу.

— Мы уезжаем, Фатех-джан. Нам надо торопиться в Кабул, — сказал Джелали.

— Гостю будет хорошо у нас, — ответил Фатех-джан, — он уйдет в горы вместе с Вахедом и Абдулали ловить архара. Когда он вернется, пройдет день или два...

— Вот как раз через два дня он может вернуться в Кабул.

Попрощавшись, Джелали и Давлят вскочили в седла и через минуту скрылись из глаз, лихо свернув па всем скаку за выступ скалы, чем-то напоминавшей суровое лицо великана.

Через три часа, отдохнув после дороги под раскидистой тенью тутовника, Виткевич ушел в горы. Вместе с ним пошли Вахед и Абдулали. Фатех-джан долго стоял у ворот своего дома и смотрел вслед уходившим, которые с каждой минутой становились все меньше и меньше: воздух в горах настолько прозрачен, что люди растворяются в нем быстро необычайно.

Ловцы поднимались высоко в горы, ловко перепрыгивая через ручьи, которых здесь было великое множество. Синие, зеленые, бурые — они, казалось, были кем-то заботливо подобраны по цвету, чтобы нее вокруг стало еще прекрасней и суровой.

В одном месте шедший впереди Вахед остановился: прямо перед ним, поднявшись на хвост, замерла гюрза. Маленькие глаза ее точками уставились в колени охотника.

Вахед стремительно поднял ногу, так же стремительно опустил ее, и голова змеи оказалась у него под каблуком. Он нагнулся, завязал хвост гюрзы узлом, поднял ее над головой и, раскрутив, с размаху ударил о камень. Потом, как будто ничего и не произошло, бросил змею в поток.

Крутые подъемы чередовались с сыпучими спусками. Растянувшись в цепочку, поддерживая друг друга, охотники забирались все дальше и дальше.

Уже под вечер они оказались в маленькой, затерянной среди гор ложине. Со всех сторон громоздились огромные скалы. Внизу, скрытый в кустарниках, журчал ручей.

— Мы пойдем ставить сети, — сказал Вахед, — жди нас здесь.

— Может быть, я пойду с вами? — спросил Иван.

— Не надо. Тебе следует сохранить силы для завтрашней охоты.

Афганцы ушли. Иван остался один на небольшой площадке, образовавшейся после недавнего землетрясения. Внизу — небольшой обрыв, позади — камни. Место это, как объяснил Вахед, хорошо укрыто не только от ветра, но и от хищников — барсов, волков, а может быть, и тигров.

«Что бы все это могло значить?» — подумал Иван. За время своего пребывания в Афганистане он привык верить пуштунам, но все происшедшее с ним было непонятно и загадочно. «Может быть, мне следовало бы сначала к эмиру в крепость съездить? Или нет?»

Ослепительно раскаленный после дневной работы, чуть колеблющийся диск солнца начал медленно опускаться. В его прозрачном свете стали особенно рельефными острые вершины гор. Вокруг застыла мертвая тишина, изредка прорезавшаяся посвистом неведомой птицы. Птица кричала то жалобно, то резко, хищно.

Лучи солнца нехотя уползали за вершины. Происходила погоня: светлое уходило, наступало серовато-синее, сумеречное. Пролетели две горные курочки, и наступила полная, мрачная тишина. Такая тишина, которая может быть только в горах, за многие десятки верст от человеческого жилья.

Изредка налетал ветерок и, заигрывая с деревьями, срывал желтые листья, уносил их вверх, в небо для того, чтобы, поиграв там с ними немного, швырнуть на остывающие камни.

Иван вздохнул. Пришло тоскливое чувство одиночества и затерянности. Кругом молчаливые горы. Высоко над головой — равнодушное в своей могучей красоте небо.

«Предчувствие? — подумал Виткевич. — Неужели предчувствие? Странствователь по землям далеким — и вдруг вера в предчувствия?»

Он огляделся. То, что Иван увидел, было так страшно, что он даже зажмурился; снизу по тропинке шел тигр, осторожно ступая по камням мягкими подушечками больших своих лап.

5

Фатех-джан обнял деревце и прижался к стволу ухом. "Из этого зардалю^[16] получится хороший рабаб", — решил он и постучал пальцем по стволу: Фатех-джану нравилось слышать себя в дереве. Он верил, что после смерти перевоплотится в тутовник.

— Хы, — сказал он Давлетманду, который принес дерево через час после ухода Виткевича в горы, — хы, я возьму его за семь рупий.

— Хы, — согласился Давлетманд, — возьми.

Когда он ушел, Фатех-джан положил деревце на верстак и очистил от коры и сучьев.

Потом он пошел к воротам — здесь всегда было много солнца и начал рыть яму.

Земля была теплая, сухая. Фатех-джан принес деревце, осторожно опустил его в яму и засыпал землей. Это место он полил водой из бурдюка: солнце, земля и вода рожают песню. Здесь деревце будет лежать дней десять. Ствол станет мягче, но сердцевина, сокровенная суть всего живого, окрепнет.

Фатех-джан отнес бурдюк на женскую половину и вернулся в мастерскую. Взял в руки только вчера вырезанный рабаб и, прижав его одним концом к верстаку, а другим к груди, начал осторожно полировать грани деки куском сухого гранатового дерева.

Люди говорили, будто Морад Вали из Кандагара полирует зардалю и тутовник куском железа. «Это железо называется напильник, — пояснял Морад Вали, — я купил его в Кабуле по сходной цене у Мирвейса, лавка которого рядом с мастерской Гуль Моманда».

«Разве можно дерево, которое рождает песню, полировать железом? — удивлялся Фатех-джан. — Ведь песня уйдет из такого

дерева...»

Мурлыча песню, он размеренно, до тепла, натирал рабаб куском граната. Поработав час, вынес его на улицу и положил под лучи солнца.

Вечером прибежал маленький Исхак, сын Наири.

— Фатех-джан, о Фатех-джан! — закричал он с улицы. — Возле нашего дома сидит странник. Он слагает песни. Отец велел сказать тебе об этом.

Фатех-джан провел ладоньями по деке рабаба. Дерево было теплое, как тело человека. «Дней через пятнадцать я закончу этот рабаб», — подумал он, собирая с верстака витые длинные стружки.

— Салам, табият цынга йе, джор, пы хайр, хы дый^[17]? — приветствовал Фатех-джан певца, присаживаясь рядом с ним.

Певец поднял большие, навывкате глаза и ответил на приветствие. Голос у него был хриплый. Когда он улыбался, глаза оставались неподвижными, словно вода в синей чашке.

Певец снял с плеча свой рабаб, маленький, в три струны. Откашлялся. Вокруг сидели люди и ждали. Певец склонил голову, ущипнул струны и чуть встряхнул рабабом. Звук сразу же стал звонким, сильным. Фатех-джан насторожился: такого звучания ему раньше никогда слышать не приходилось. Певец начал петь про орлов, что живут в небе, стране гордых. Хриплый голос певца сделался мягким, красивым.

Пальцы бегали по струнам быстро, чуть касаясь их. Только глаза оставались неподвижными.

Фатех-джан пригласил певца к себе. Вечером, после намаза, они сидели около огня и толковали о всяком.

— Слова твоих стихов приятны музыке, — сказал Фатех-джан, передавая гостю в руки палочку с нанизанными на нее кусочками жареного мяса.

— А твои слова приятны мне, — улыбнулся певец, — потому что я не слышу в них лести.

В дверь постучались.

— Входи, — негромко крикнул Фатех-джан, — входи и будь гостем моего дома!

На пороге стоял Ахмед, сын лесоруба. Фатех-джан указал ему место рядом с собой и пододвинул лепешку, уже разломанную на куски, и мясо. Ахмед завернул в кусок лепешки мясо, подержал его над огнем и спросил:

— Сегодня я уйду в горы, туда, где сейчас Абдулалли и наш гость. Нужны ли тебе еще деревья для рабабов?

— Да, — ответил Фатех-джан. Когда Ахмед ушел, певец удивленно поднял брови:

— Разве ты не сам ищешь такие деревья?

— Зачем? Лазать по горам?

— Лазать по горам...

— Почему ты спрашиваешь об этом? Разве я могу увидеть именно то дерево, которое мне нужно?

Певец не торопился с ответом, что-то обдумывая. Потом попросил:

— Дай мне, пожалуйста, чаю.

Фатех-джан протянул ему чашку и про себя отметил, что певец не так уж вежлив: в гостях не принято просить. Это звучит упреком хозяину.

— Нет, — улыбнулся певец, — я прошу у тебя не чашку, а пачку с чаем.

— Разве я плохо заварил? — не удержавшись, спросил Фатех-джан. — Если тебе неприятен вкус, я заварю новый.

— Нет, нет, что ты, — возразил певец, — чай очень хорош, хвала твоему дому. Но посмотри: вот ты дал мне пачку чая. Я беру ее, высыпаю на ладонь часть содержимого, откладываю остальную пачку в сторону и выбираю чайники для особой заварки, — певец закрыл глаза и начал осторожно ощупывать каждую чайнику. — Видишь, вот эта толста, слишком толста. Она придает чаю резкий запах. Мы ее отложим в сторону, так? А вот эта, смотри, — певец взял маленькую тонкую чайнику и поднес ее к носу, — это очень хорошая чайнику. На, понюхай и сравни с большой, той, что я отложил.

Фатех-джан сравнил две чайники, понюхал их и решил, что певец прав. Он ждал, что будет дальше.

Певец молча отбирал самые хорошие чайники. Потом он попросил у Фатех-джана чайник и бросил их туда.

— Залей не слишком горячей водой и дай постоять минут десять. Пройдет время — сравни этот чай с любым другим, и ты скажешь, что мой лучше. Потому что я сумел верно начать. Я начал с выбора, с поиска. С поиска чайников.

Фатех-джан усмехнулся.

— Ты мудр, а мудрость принимают как дар аллаха.

— Это ли мудрость? — возразил певец. — Мудрость проще, оттого что путь к ней труднее.

Помолчали. Потом певец спросил:

— Ты, верно, не знаешь моего имени?

— Нет, не знаю.

— Меня зовут Садыкулла. Я сын мастера рабабов, и отец мой был сыном мастера.

— Я знаю работы Садыкуллы, — сказал Фатех-джан и внимательно посмотрел на гостя, — но ты певец, а не мастер. Мастер никогда не поет, он только делает песню.

— Когда мастеру есть что петь, он и споет, — заметил Садыкулла и бросил под язык щепоть зеленого табаку. — Знаешь ли ты, как я потерял глаза?

6

Тигр, по-видимому, не видел Ивана. Но, судя по тому, как подрагивали его ноздри, он чувствовал поблизости человека. Шаг его делался все короче и осторожнее.

Иван вытащил из-за кушака пистолет и отвел курок. Мысли заматались, напозая одна на другую, сталкиваясь, дробясь на множество других, быстрых и неожиданных.

«Неужели конец? Что сделает пистолет против зверя? Кричать? Никто не услышит. Молчать, затаиться?»

Осторожно, рассчитывая каждое движение, Иван повернулся на живот. Достал кривой нож. Положил его рядом с собой. Тигр был теперь шагах в двадцати. Скрытый от него камнями, Иван мог еще раз внимательно разглядеть полосатого, поджарого зверя.

«А что, ежели в глаз ему угодить?»

Рука у Ивана верная, тяжелая. Рукоять пистолета зажата в холодных пальцах.

Тигр в пятнадцати шагах.

Где-то неподалеку покатались камни. Тигр замер.

С каждой минутой темнеет все больше и больше.

Снова где-то посыпались камни. Тигр весь на-пружинился, прижался к земле, пополз.

Иван оттянул курок.

Сердце колотилось в груди тяжело, быстро.

Палец начал осторожно давить на курок.

Большой глаз тигра, вернее даже — зрачок, как раз над мушкой.

«Бабах!»

«А-а-а-а-х! Х-х-хахааа!» — громынуло эхо.

Тигр вытянулся, потом подпрыгнул, стал на задние лапы, пошел на Ивана.

«Бабах! А-а-аххх-ааа!» — громынул второй выстрел.

«Кто же это?! Спасен?!»

Тигр завертелся на месте, упал, дернулся, замер.

— Э-э-й! — негромко крикнул кто-то из кустов — Ты жив, друг?

Иван сдержал дрожь в коленях. Хрипло ответил:

— Жив.

Из кустов дикого жасмина вылезли Вахед и Абдулали.

Когда они подошли к Ивану, тот сидел около туши убитого тигра, крепко сцепив руки.

— Мы боялись спугнуть его, когда заметили, — объяснил Вахед, — он сердится, когда его пугаешь, и может кинуться на человека раньше времени, рассердившись...

— Да, очень сердится, — подтвердил Абдулали. — Чай будем пить?

— Будем, обязательно будем, А то я замерз, — сказал Вахед и начал высекать искру.

7

Фатех-джан растерялся. Он никак не думал, что Садыкулла слеп. Он думал, что у него просто такой взгляд — тяжелый, остановившийся.

— Я расскажу тебе. Пятьдесят лет тому назад, — начал певец, — у меня было много рабабов, ситаров и доумр, оставшихся еще от отца и деда. Их с охотой покупали у меня певцы из Кандагара и Герата, Пешавара и Кабула. Мои рабабы нравились людям, но они не нравились мне. Я хотел сделать такой рабаб, чтобы звук в нем был чист, как слеза новорожденного. Я начал делать рабабы из теневой стороны дерева. Звук получался густой, но грустный, словно первый ноябрьский дождь. Я попробовал делать из солнечной стороны — звук получался высокий, звонкий, как голос девушки в горах. Но как совместить в одном голоса двух?

Я стал класть в деку солнечного зардалю кусок тута, срубленного в тени. Звук получался широкий, и шум дождя мешал песне девушки.

Однажды странник, пусть аллах благословит его имя, поведал мне, будто в стране, где горы держат небо, среди снегов растут деревья, которые славятся в тех краях силой, выносливостью и красотой.

Я пошел в тот край. Я шел много дней. Я поднимался в горы. Но чем выше я поднимался, тем становилось холоднее и дышать было трудно и чаще сбивал с ног сухой ветер. Кругом были только скалы, а деревьев не было. Глазам моим стало больно смотреть вверх, потому что небо уже было не голубое, а красное. Потом начался красный снег и красные облака. Отчаянье — подруга слабых: я решил повернуть назад. Но перед тем, как уйти, я взглянул вверх. Облака расступились, и я увидел высоко вверху в маленьком клочке красного неба сильное ветвистое дерево. Я полз к этому дереву много часов, а может быть, дней. Я не знаю, сколько времени я полз вверх. Но не потому, что силен был дух мой. Просто глаза видели дерево, а уши слышали музыку, которую оно призвано рождать.

Я полз, цепляясь руками за лед. Ноги стыли, глаза слипались от боли. А надо мной кружили беркуты — гордые птицы.

Я принес это дерево вниз и начал делать из него рабаб. Я торопился и работал ночами: мои глаза с каждым днем видели все хуже. Но когда я натянул струны и тронул их пальцами, уши мои услышали шум весеннего ветра, клекот беркутов, песнь девушки. Я услышал музыку. Но я ничего не увидел. Я увидел только красное небо.

И я вижу его вот уже пятьдесят лет подряд...

Наутро певец ушел. Он осторожно переставлял ноги, ощупывая дорогу острыми носками сандалий. Потом он снял с плеча рабаб и тронул струны.

Фатех-джан долго смотрел ему вслед. Он слышал в песне слепого великую радость жизни.

8

Вахед разбудил Виткевича, когда в небе еще горели звезды. Быстро собравшись, охотники двинулись к месту охоты. Абдулали шел впереди по едва различимой в темноте тропинке в камнях.

Природа сделала здесь-лестницу, и поэтому идти было не так трудно, как вчера.

— Во-он там спрячемся в кустах, — показал рукой Абдулали на узкое, поросшее кустарником ущелье, — там сети стоят...

Около можжевельного куста Абдулали велел Ивану остаться и спрятаться у ручья.

Сам он вместе с Вахедом пошел выше. На самом гребне ущелья Вахед закидал Абдулали сухим хворостом и побежал вниз, туда, где в кустах еще со вчерашнего вечера была укреплена сеть. Он спрятался так быстро и так искусно, что Иван, минуту перед тем видевший его, поразился, не обнаружив охотника на том месте, где тот стоял только что.

Прошло несколько минут, и вдруг где-то совсем рядом громыхнул выстрел. Это Ахмед, сын лесоруба, за ночь сделал по горам крюк и сейчас гнал в ущелье, в сети архаров, горных козлов.

Еще один выстрел.

Снова выстрел.

И вот, будто на старинной гравюре, прямо на гребне, в нескольких метрах от того места, где затаился Вахед, выросла стройная фигура огромного козла.

Еще выстрел.

Козел сделал большой прыжок вниз. Остановился. И тогда из своего укрытия выбежал Абдулали. Он закричал что-то, замахал руками. Архар бросился вниз. Около можжевельного куста снова остановился. Иван выстрелил в воздух, закричал громовым голосом. Козел снова рванулся вниз, к кустам, в которых стояла сеть.

Умное животное архар. Гордое и умное. Впереди — неведомое. Позади — преследователи. Архар бросился вперед, в кусты. Он нагнул голову, стараясь рогами разорвать молчаливую зелень веток. Сеть, чуть укрепленная по обеим сторонам ущелья, от могучего этого броска покачнулась, упала вниз, накрыв архара. Козел забился, заметался. Тогда Вахед прыгнул прямо на архара, схватил его за рога, взвалил на себя и закричал радостно:

— Э-эй! Наш!

Архар рвался, бил его копытом, стараясь высвободиться. Но — напрасно. Охотник прижал его голову к камням, и через минуту подбежавшие Абдулали и Виткевич связали ноги козла веревками. Архар посмотрел на охотников красными, влажными глазами и вздохнул. Тяжело, по-человечески...

— Зверь тоже имеет сердце, — пояснил Ивану Абдулали, — он знает, что мы продадим его купцам, а те — ангризи. Чужие страны и для архара страшны...

Ахмед, сын лесоруба, добрался до охотников через полчаса. Он отозвал в сторону Абдулали и что-то негромко сказал ему.

— Гость может ехать в Кабул, — объяснил Ивану Абдулали.

— А кого же мне благодарить за время, столь приятно проведенное? — спросил Иван.

Абдулали посмотрел на Вахеда, Вахед — на Ахмеда. Тот приложил руки к груди и отошел в сторону. Тогда Вахед осторожно снял со своих рыжеватых усов приклеенные черные, и Виткевич сразу узнал Фатх-мирзу — названного брата наследника Акбара.

Фатх был человек сказочной храбрости, ледяного спокойствия и великой силы. Дост Мухаммед доверял ему как себе. Самые трудные поручения выполнял Фатх, всегда оставаясь в тени, не требуя ни наград, ни славы.

— Пусть гость ничему не удивляется, когда вернется в Кабул, — сказал с усмешкой Фатх-мирза и пошел вниз, не оглядываясь.

Но Иван все же удивился: его одеяло, лежавшее на кровати, было прострелено в трех местах.

Тем же утром адъютант эмира был найден в своей постели задушенным.

9

— Ну, как охота? — спросил Дост Мухаммед Ивана, когда тот пришел к нему, как обычно, в десять утра.

— Очень интересная охота, — ответил Виткевич.

И ни эмир, ни Виткевич больше не говорили об этом в продолжение всей беседы.

Начали они с того, что Иван рассказал Дост Мухаммеду о налоговой системе в России. Эмир слушал его, время от времени делая пометки в своей тетради.

— Слушай, русский друг, — неожиданно спросил он, — а как ты думаешь: нападут на нас англичане или все кончится маневрами на границах?

Виткевич посмотрел на Дост Мухаммеда и сжал губы.

— Мне трудно ответить на этот вопрос, ваше величество. Я не имею права отвечать на этот вопрос, потому что Великобритания

дружественная России держава.

— Молодец!...

Оба замолчали. Потом Дост Мухаммед спросил:

— Россия поможет нам?

— Ваше величество, я считаю своим непреложным правилом честно отвечать и владыкам и рабам. Я хотел бы думать, что Россия будет помогать вам, но сказать определенно не могу, потому что происходящее в Санкт-Петербурге мне неизвестно. С полной точностью я могу сказать вам лишь только, что народ России всегда понимает, где правый, а где виноватый. Я твердую уверенность питаю в том, что все люди на земле братьями друг другу приходится. Если бы мои друзья в России узнали афганцев так, как я, а афганцы узнали бы русских...

— Так, как я их узнал, — вставил эмир. Виткевич встал и поклонился. Эмир снова посадил его рядом с собой и попросил:

— Продолжай, друг.

— Я не знаю, что будет сейчас. Но я верю в то, что будет завтра. Завтра Афганистан с Россией братьями будут и друзьями не только потому, что соседи всегда друзьями быть должны, а потому, что народы наши сходны характерами своими и сердцем. А сейчас... Что же, сейчас я был бы счастлив, если бы мое правительство разрешило мне драться под вашими знаменами за ваше дело, потому что оно очень близко мне. Это дело свободы, а россияне считают его святым.

— Спасибо тебе, — задумчиво сказал эмир. — Мы, афганцы, умеем ценить друзей. Спасибо тебе, друг, — повторил эмир еще раз и положил свою жилистую руку на руку Ивана.

10

К Виткевичу Бернс пришел поздним дождливым вечером. Улицы Кабула, погруженные в темноту, казались мертвыми: ни единого звука не доносилось из домов, только собаки тонко повизгивали, недоумевая, почему в небе нет луны.

Увидав Бернса на пороге своей комнаты, Виткевич безмерно удивился.

— Здравствуйте, господин Виткевич. Простите за столь позднее и бесцеремонное вторжение. Но так лучше: и для меня и для вас. Вы разрешите мне войти? — И, не дожидаясь ответа, Бернс вошел.

Он сбросил накидку, положил ее на спинку стула. Сел, забросил ногу на ногу и, быстро осмотревшись, заметил:

— А все-таки вы обманщик, дорогой посол.

— В разговоре со мною прошу вас соблюдать вежливость, полковник.

Бернс удивился.

— Это вы про обманщика? Пустяки, право же. Но если это столь для вас неприятно — примите мои искренние извинения. Чудесно! Теперь я повторю снова и с еще большим к вам уважением: вы обманщик.

Иван поднялся. Бернс, как бы не замечая этого, продолжал:

— Вы провели меня в Бухаре в первый раз. А здесь не только провели, но, как говорят знатоки бриджа, переиграли. Не горячитесь, пожалуйста. Давайте уговоримся не следить за терминами. Будем говорить откровенно — на обоюдных началах, ладно? Вы понимаете, господин посол, что вы наделали? Нет? Хорошо, я объясню вам, тем более что все это просто до чрезвычайности. Я, Александр Бернс, а в моем лице Великобритания, должен уйти из Кабула лишь только потому, что сюда пришли вы и сумели понравиться правителю Досту больше, чем я.

— Кто вам мешает нравиться? Подкрасьте губы, насурьмите брови, и из вас мужчина хоть куда, — грубо, в тон Бернсу, ответил Иван, — но весь этот разговор мне непонятен и...

— Что "и"? — быстро спросил Бернс. — "И" буду говорить я. Именно я, потому что мне известно о вас все, даже то, что вам самому неизвестно. Посол, — Бернс растянул губы в досадливой усмешке, — под надзором полиции. Смешно, не правда ли?

Где-то, в двух местах сразу, затрещали сверчки. Они были как музыканты в хорошем оркестре: когда уставал один, другой подхватывал его песню с новой силой. Бернс, услышав их, замолчал. Потом, вздохнув, просто, без иронии спросил:

— Вы знаете, что ждет вас в России? Конечно, не знаете. Я знаю. Мне почему-то близка ваша судьба, Виткевич. Меня, словно противоположный полюс магнита, тянет к вам. Но довольно редко в основе человеческого притяжения скрыта столь резкая полярность, как у нас с вами. Я знаю себе цену, господин Виткевич, у меня очень большая цена, но вы мне особенно импонируете именно теми качествами вашего характера, которые у меня — к счастью ли, к горести ли, не ведаю — отсутствуют. Да не смейтесь вы, черт

возьми! Я шотландец, я умею трезво оценивать свои поступки и мысли. Когда я вижу, что поступок мой нелеп, но неотвратим, — я человек страсти, — мне остается только шутить над самим собою, а занятие это весьма тягостное...

Увидев, что Виткевич слушает его с усмешкой, Бернс прервал себя:

— Я отвлекся: я не на смертном одре, и поэтому искренность моих слов может вызвать у вас одно лишь недоверие и излишнюю настороженность. Итак: я хочу предложить вам иное решение нашей партии. Я хочу предложить вам должность секретаря русской миссии в Тегеране. Хотите?

— Мы не в лавке, Бернс, а политика — это не груши, которыми торгуют на базаре.

— Ну, это уж просто недостойно вас, Виткевич, — удивился Бернс, — такой чистый человек, а со мною хотите играть в лицейскую наивность. Политика действительно не груша. Слишком хорошее сравнение. Политика — это кожура от перезрелого арбуза, и не нам с вами закрывать глаза, гуляя по краю пропасти.

— Если вы, Бернс, довольствуетесь огрызками арбузов, то это говорит просто-напросто о ваших извращенных вкусах. Я огрызков не ем.

— Ого! Как понять вас следует? Мне хочется понять вас так, что пост секретаря низок?

Виткевич поднялся и ответил гневно:

— Бернс, перестаньте, я теряю уважение к вам.

И тут случилось то, чего Бернс потом себе никогда не мог простить. Быстро, шепотом, глотая слова, он предложил Ивану:

— Ну хорошо, хорошо, не будем ссориться. Я глава торговой миссии, у меня большие средства. Станьте магараджей — дворцы, гаремы, блаженство созерцательности...

Виткевич ударил кулаком по столу. Глаза его сузились гневом, ноздри раздулись, стали тонкими и белыми.

— Вон отсюда, — негромко сказал он.

Бернс спохватился, но было уже поздно. Он понял, что здесь партия проиграна и ничем уже не спасти ее. Сразу стал таким, как прежде: надменным, шутливым, спокойным. Только лихорадочный румянец на скулах выдавал то волнение, которое он только что пережил.

— Только тише, — негромко попросил Бернс. — Вам же выгоднее, чтобы все было тихо, потому что здесь я. Что подумает

ваш есаул, казаки? Ведь у вас в России очень любят размышлять над подобными казусами.

— Вон отсюда! — повторил Виткевич и облизнул пересохшие губы. — Убирайтесь прочь!

— Хорошо, мой посол, — уже совсем спокойно ответил Бернс, — я уйду. Но я обещаю вам, — а я обещаний на ветер не привык бросать, — вы мне дорого заплатите за вашу победу. Это не победа вашего правительства, и именно этого я вам никогда не прощу. Вы пожалеете о том, что сделали. Прощайте. Мы с вами больше никогда не увидимся.

И, учтиво поклонившись Ивану, Бернс вышел.

Он оказался прав: они больше никогда не увиделись. Ровно через четыре года восставшие афганцы убили Бернса в Кабуле. Но до своей смерти он подготовил не одну смерть для других — знакомых и незнакомых ему людей.

11

В один из дней, когда Дост Мухаммед с утра совещался с военачальниками и посланцами из Кандагара, Виткевич заперся в своем кабинете. Он просидел за столом, не поднимаясь, часов десять кряду. Писал. Курил кальян и писал, писал не переставая.

А когда в Кабул пришли сумерки, приглушив все дневные звуки, Виткевич разогнулся, выпил крепкого холодного зеленого чая, походил по комнате и уже только потом запечатал несколько листов в большой, им самим склеенный конверт и передал его казачьему есаулу, отправлявшемуся с дипломатической почтой в Санкт-Петербург.

И хотя на конверте было старательно печатными буквами выведено: «Петербург, редакция журнала „Современник“, для А. С. Пушкина», письмо это попало в III отделение, на стол Бенкендорфа.

Александр Христофорович осторожно вскрыл конверт и, надев очки, погрузился в чтение.

"Милостивый государь, Александр Сергеевич.

Памятуя вашу мысль о необходимости издания «Альманаха Восточных Литератур», я рискнул отправить на ваше усмотрение крохотную толику того, что успел накопить, находясь в Кабуле — городе, овеянном ореолом

романтики столь необыкновенной, что представлять ее, не почувствовав самому, немислимо.

Думаю, что некоторые переводы из стихов афганских классиков должны будут вызвать интерес у литераторов российских, да и вообще у читающей публики.

Первым поэтом, с которым должно ознакомить наших любителей словесности, по праву следует выставить Хушхаль-хана Хаттака, человека не только одаренного великолепным даром слагать стих, но и столь же редким даром храбрейшего военачальника. Сражаясь за свободу афганцев, он был схвачен в плен, израненный, долгое время прожил в изгнании, вдали от родной земли. Но стихи его — мудрые, сильные — никогда, ни в единой строке не несут печали, столь свойственной людям, томимым в плену. Вот некоторые из его стихов.

Одно непостижимо никогда:
Спокойствия достигнуть без труда.
Безделье не лекарство, но отрава!
Пусть труд тяжел — в нем нет того вреда,
Пусть даже к смерти приближает — право,
Безделье все же худшая беда.
Пусть рок тебя и ввергнет в пасть ко льву,
Не думай: «Гибну!» Знай: «Переживу!»
Пытайся изловчиться в пасти львиной!
Стремись к освобождению, к торжеству,
И лев еще придет к тебе с повинной!
В кошмаре — смерть. Спасенье — наяву.
Посмешище! Ты сам тому виной:
Подобен старушонке той шальной,
Что мушку на лицо свое налепит,
В морщинах пудру разотрет слюной...
Беззубые ужимки, сладкий лепет...
...Ты в царедворцы лез? Очнись, дурной!
Кривому глазу не идет сурьма,
Пусть криводушный, с сердцем безобразным,
Достигнет счастья — спятит он с ума.
Не в полном смысле, но бесчинствам разным
Откроет путь душа его сама!
Гнев государя, ложь муллы-злодея,

Жены распутство, жадность богатея -
Четыре мною названы порока:
Так я решил, об истине радея.

Следующим поэтом следует назвать Рахман бабаджана, или, как говорят афганцы, Рахмана. Он также полководец, воин. Дост Мухаммед, эмир Афганистана, человек, знающий поэзию Востока прекрасно, сказал мне, что Рахман в одной руке держал меч, в другой — перо, но умудрялся при этом крепко сидеть в седле.

Вовек не оскудеет
С вином любви кувшин,
Что вылеплен из праха
Фархада и Ширин!
Лучше яму не рой на пути,
Загадав, что другой попадет, -
Самому не пришлось бы идти...
Ты провалишься — он обойдет.
За любовь я пожертвую всем, что имею:
Будь то золото, будь серебро — не жалею.
Будь то жемчуг и все, что добыть я сумею.
От всего отказался я, кроме любви:
Я — Рахман, не согласен пожертвовать ею!

Абдул Кадыр — поэт из того же племени, что и афганский Ломоносов — Хушхаль-хан.

Он из племени хаттаков. Он, как уверяют кабульцы, — а они ценители поэзии истинные, строгие, — в творчестве своем взял много у Фердоуси и Хаяма. О них, об этих двух гениях далекой старины, я напишу вам, Александр Сергеевич, в следующем письме, ежели это вам интересным покажется.

Вот некоторые переводы из Абдул Кадыра и Абдул Гамида:

О виночерпий! Дай вина,
Коль все на свете бrenно!

Люблю быть пьяным и люблю быть трезвым
совершенно,
А полупьяный человек противен, как измена!
Дурной все знает о дурном,
О добром знает добрый!
Дурной страдает от добра, от зла страдает
добрый,
Злой, негодюя, судит то, что оправдает добрый.
Не лицемерь, не до потех!
Коль сведуща в законах,
Ты знаешь, это худший грех
В религии влюбленных!
Обезумевшая птица в стоколькоковой западне...
Брось метаться, полно биться!
Кудри милой снятся мне...

И, наконец, Казем-хан, мой любимый поэт. Вы,
верно, помните те строки, что я читал вам в Оренбурге.
Здесь я записал еще кое-что, неведомое мне ранее.

На безвестную жизнь мелочей
Как внимательно солнце глядит!
Мелкоту не лишает лучей,
И никто им не будет забыт.
Человек, если вправду велик,
Малых сил презирать не привык,
Он в сердца их глубоко проник, -
Как внимательно солнце глядит!
Дали месяцу серп для чего
И пустили на синюю гладь?
Чтоб с людей не от мира сего
И с мечтателей жатву собрать.
Если хочешь дать людям покой,
Сам спокойно не спи никогда:
Будь, как люлька! Ценою такой
Дашь спокойные людям года.

Вот все это я и хотел бы предоставить на Ваше, милостивый государь, Александр Сергеевич, благоусмотрение. Я буду с нетерпением ожидать ответа Вашего. Ежели то, что я перевел, непригодно или неинтересно, отпишите отчего и почему.

Сейчас я занят тем, что обрабатываю песни народа. Я собрал их около тысячи. Они звучны, страстны и необыкновенно выразительны: так и просятся на музыку.

Коли суждено мне будет вернуться в Россию, передам все стихи и песни Алябьеву — он Восток обожает и понимает по-настоящему.

Жду вашего ответа. Кабул. Ваш Иван Виткевич".

Бенкендорф снял очки и осторожно положил их в маленький потайной ящик стола — Александр Христофорович скрывал от всех свою близорукость. Высокие часы нежно пропели время. Бенкендорф улыбнулся доброй, ласковой улыбкой и, вздохнув, покачал головой. Задумчиво побарабанил пальцами по гладко отполированному столу, а потом, снова надев очки, прочел вслух:

Ты в царедворцы лез? Очнись, дурной!

Прошептал:

— Ах, Александр Сергеевич... Были б вы живы, и то б такого письма не передал: что душу зря травить да государя понапрасну гневить...

Вдруг лицо Бенкендорфа собралось резкими морщинами, добрая ямочка на щеке пропала, глаза спрятались под бровями — низкими, нахмуренными.

«Ты в дипломаты лез, — подумал он о Виткевиче, — очнись, дурной!»

И на чистом листе бумаги (Бенкендорф был болезненно аккуратен и с вечера записывал то, что следовало сделать утром) нарисовал профиль юноши, а под ним аккуратно вывел: «Виткевич».

Вечером, встретившись на балу с Нессельроде, Бенкендорф сказал ему с обычной своей доброй улыбкой:

— Карл Васильевич, а ваш протеже из Кабула эдакие бунтарские стишки шлет, за которые мы бы здесь...

Он не закончил: к Нессельроде подошел Виельгорский. Бенкендорф повернулся к танцующим. Залюбовался грацией княжны Конской. Подумал: «Молодость — это чудесно. А ежели я начинаю завидовать юности, значит я старею».

Когда Нессельроде остался один, злая, нервная судорога рванула щеку. Подумал о Бенкендорфе: «Меценат...» Вздохнул. Не до стихов ему сейчас было. Сегодня британский посол, после неоднократных намеков, официально заявил о том, что Виткевич, русский представитель в Кабуле, своими действиями в Афганистане разрушает традиционную дружбу Великобритании и России. Какими поступками — посол не уточнял. Да Нессельроде и не интересовался. Трусливый, в основу своей внешней политики он ставил два принципа: «Уступка и осторожность».

12

Прошло четыре месяца.

Виткевич кончил читать депешу, скомкал ее и хотел выбросить в окно. Но потом он разгладил бумагу и начал снова вчитываться в сухие, резкие строчки. Сомнений быть не могло: в Петербурге что-то случилось. Иначе этот отзыв расценить нельзя было, как смену прежнего курса.

Спрятав депешу, Иван пошел в город. Кабул жил своей шумной, веселой жизнью, звонко кричали мальчишки — продавцы студеной воды, ударяя в такт своим крикам по раздутым козьим шкурам, в которых хранилась драгоценная влага. Размешивая длинными, свежеструганными палочками горячую фасоль, мальчишки постарше предлагали прохожим отдохнуть в тени дерева и перекусить — фасоль с теплой лепешкой, это ли не подкрепляет силы!

Совсем маленькие карапузы деловито разносили по лавкам кальяны. Мальчуганы не предлагали свою ношу никому — огромные кальяны и так видны издалека.

Только на набережной, там, где начиналось самое сердце базара, Виткевич начал постепенно приходить в себя, заново оценивая все происшедшее. Он давно подозревал, что Бернс разовьет бурную деятельность для того, чтобы отозвать его из Кабула. Но как же ему удалось добиться своего? Как?! И сколько Иван ни старался найти версию, которая хотя бы в какой-то мере оправдывала его отзыв, ничего путного не получалось.

Вдруг Виткевич подумал: «А что, если новый Майер?»

Мысль эта оказалась такой страшной, что он даже остановился.

— Саиб хочет яблок? Груш? — услышал он голос рядом.

Торговец фруктами вопросительно смотрел на Ивана и перебирал свой товар быстрыми пальцами, показывая самые налитые яблоки.

— Нет, спасибо.

«Нет. Этого, конечно, не может быть. Просто смена курса. Тогда я должен как можно быстрее быть в Петербурге. Я обо всем расскажу Перовскому, и тот повлияет на государя. Ведь они друзья. Я буду писать в газету, призывая о помощи Афганистану. Я буду говорить всем и каждому: в Афганистане британцы хотят лить кровь: На помощь афганцам! Я не устану говорить людям о той борьбе, которую ведет Афганистан. Не устану. В Россию! Да, мне надо немедленно отправляться в Россию. В крайнем случае я испрошу себе разрешение и вернусь к Дост Мухаммеду вместе с теми, кто захочет драться за свободу».

Иван пошел прощаться с Гуль Момандом, с тем самым оружейным мастером, который оказался двоюродным братом Ахмед Фазля, первого кабульского друга Виткевича.

Оружейная мастерская человека, имя которого в переводе на русский язык означало «цветок племени момандов», помещалась в центре базара. Базар в Кабуле совсем не похож на европейские рынки. Это не два, не три и даже не двадцать рядов с овощами, мясом и фруктами. Весь центр города — двадцать или тридцать улиц, улочек, переулков и тупичков — был сердцем кабульского базара. Если идти от Кабул-реки по направлению к необозримо широкой площади Чаман, то четвертая улица направо резко сворачивала и заканчивалась маленьким тупиком. Здесь рядом со скорняжной и скобяной мастерской помещалась мастерская Гуль Моманда.

Низко согнувшись, Гуль Моманд вертел ногой большой каменный круг. Быстро и резко он подносил к вращающемуся кругу рукоятку маленького, похожего на игрушечный, пистолета. Постепенно с каждым новым штришком рождалась замысловатая афганская вязь.

Увидев Виткевича, Гуль Моманд отложил пистолет, вытер руки о широкие патлюны и, поднявшись с табурета, шагнул навстречу Ивану.

— Здравствуй, мой возлюбленный брат и гость.

Заботливо расспросив друг друга о здоровье, настроении и самочувствии друзей, знакомых, они присели у входа. Гуль Моманд раскурил кальян. Когда вода в нем хрипло забулькала и от едкого дыма рубленых кореньев и листьев индийского табака у Гуль Моманда выступили слезы на глазах, он протянул Ивану трубку, предварительно обтерев ладонью мундштук.

Затянувшись один раз, Виткевич возвратил кальян Гуль Моманду. Так полагалось поступать в обращении с самыми большими друзьями. Гуль Моманд отстранил кальян.

— Нет, спасибо. Кури сначала ты, брат.

— Спасибо, брат.

— Нет большей радости, чем радость, доставленная тебе.

Помолчали. Покурили. Потом Виткевич сказал тихо:

— А я ведь прощаться пришел с тобой, Гуль-джан.

— Нет!

— Уезжаю, брат!

— Нет! Разве тебе плохо у нас?

— Мне хорошо у вас. Очень хорошо...

— Остайся, Вань-джан, — сказал Гуль Моманд. — Я тебе жену найду. Пир устрою. У меня и жить будешь.

Иван обнял Гуль Моманда за плечи и прижал к себе. Они так просидели несколько мгновений, а потом оба враз, как будто застыдившись своей чувствительности, встали. Гуль Моманд взял маленький пистолет и протянул его Ивану.

— Вот возьми. На счастье. И знай, что в нем живет частица души твоего брата, твоего афганского брата Гуль Моманда.

Виткевич взял пистолет из рук афганца и поцеловал рукоять. Затем он снял с ремня свою саблю и протянул ее Гуль Моманду.

— Вот возьми. В этой сабле живет частица души твоего русского брата Ивана.

И два высоких сильных мужчины обнялись. Сердце к сердцу.

После вечернего намаза у Гуль Моманда собрались друзья. Позже всех пришел Ахмед Фазль, потому что он недавно вернулся из Пагмана.

— Вань-джан уехал домой, — сказал ему Гуль Моманд.

— Нет! — воскликнул Ахмед Фазль. — Разве ему было плохо у нас?

— Когда он прощался, глаза у него были грустны, как у орла, раненного стрелой.

— Я должен спеть ему много песен! Он останется, если я буду петь ему песни. Я пойду к нему!

Ахмед Фазль опоздал всего на несколько минут. Виткевич уже уехал в Россию.

Эпилог

Еще никогда Иван Виткевич не был так уверен в своих силах и никогда раньше он так не понимал главной цели своей жизни, как сейчас, возвращаясь в Россию.

«Будет драка у меня с азиатским департаментом, будет, — весело думал Иван. — Да посмотрим, кто кого одолеет. И с Карлом Васильевичем побьемся — ничего, что канцлер...»

Он был так смел в своих мыслях и планах оттого, что чувствовал поддержку, любовь и дружбу афганцев, киргизов, таджиков. А человек, чувствующий дружбу целого народа, делается подобным народу: таким же сильным и страстным в достижении своей главной цели.

Виткевич специально завернул в Уфу, чтобы повидаться с Перовским. Губернатор растрогался до слез. Целый вечер он продержал Виткевича у себя, слушая его рассказ о поездке, а когда Иван поднялся, чтобы ехать в столицу, Василий Алексеевич сказал:

— Истинный ты Гумбольдт, Иван. Горжусь тобой. В обиду не дам, за тобой следом выеду. Нессельрода обойдем — прямо к государю обратимся.

Иван сидел в углу кареты и смотрел на пробежавшие мимо перелески, на луга, тронутые желтизной, на подслеповатые оконца деревень, на речушки, такие тихие и ласковые по сравнению с дикими горными потоками Афгании, и чувствовал радость, большую, гордую радость...

После приема у Нессельроде, который топал ногами и визгливо кричал, обвиняя Ивана в «заигрывании с дикими азиатами и желании поссорить Россию с Англией», Виткевич весь напрягся, подобрался для последнего, решительного удара, который он рассчитывал нанести по безмозглой политике канцлера с помощью Перовского.

Иван считал, что только с помощью Василия Алексеевича можно было доказать свою правоту, отстоять свою точку зрения, столь нужную и России и азиатским государствам.

...В номера Демутовской гостиницы Виткевич вернулся поздно вечером. Его познабливало. Растопив камин, он сел за маленький стол с кривыми ножками и достал из чемодана большую связку

бумаг. Это была крохотная толика того, чему он посвятил себя. Это были сказки и песни афганцев, записанные им. Завтра поутру Иван думал отнести рукопись в «Современник» — там ее ждали с нетерпением.

Он погладил своей худой тонкой рукой шершавые страницы, пошедшие по краям сыростью. Потом осторожно открыл первый лист и углубился в чтение. И чем дальше читал он, тем яснее видел край, месяц назад оставленный им, людей, которые стали его друзьями и братьями, их врагов, которые стали и его врагами. Он слышал звонкую тишину утра и таинственные звуки ночи, он заново ощущал силу горных ветров и тоскливый зной пустынь. Он жил тем, что читал, потому что он любил тех, кто веками создавал поэзию и сказку.

На Санкт-Петербург легла ночь, тишину уснувшего города лишь изредка рвали трещотки сторожей, а Иван все читал мудрые, исполненные вечным смыслом жизни строки афганских песен.

Я сто раз умирал, я привык
Умирать, оставаясь живым.
Я, как пламя свечи, каждый миг
В этой вечной борьбе невредим...

"Милостивый государь, Александр Христофорович.

Вчера ночью возвратившийся из Афганистана поручик Виткевич был найден в номере Демутовской гостиницы мертвым. Все его бумаги были обнаружены в камине сожженными. Однако, несмотря на то, что на столе лежала записка, подписанная вышеупомянутым Виткевичем, которая уведомляла о его самоубиении, долгом считаю довести до сведения вашего, что пистолет, лежавший у него в руке, был не разряжен, а в стволе находилась невыстреленная пуля. Чиновники азиатского департамента, знавшие Виткевича ранее, уверили меня в том, что у него было такое количество бумаг, сжечь которые в камине не представлялось никакой возможности.

Показанное чиновниками подтверждается также и тем, что перед отъездом Виткевича в королевство

Афганистан нами был проведен негласный просмотр бумаг его.

Выяснилось тогда, что у него на хранении находилось 12 (двенадцать) рукописных словарей восточных языков. Каждый словарь от 600 (шестисот) до 900 страниц рукописного текста. Были у него обнаружены тогда же более 100 рукописных карт всяческих областей восточных. Были там также и несущественные, по мнению моему, тетради со сказками, стихами и пр. Я так же, как и чиновники азиатского департамента, имею склонность считать, что такое количество бумаг сжечь никак невозможно.

И, что также весьма существенным считаю, окно первого этажа было раскрыто в момент обнаружения трупа.

Все свои соображения честь имею представить на рассмотрение Вашего сиятельства.

Подполковник корпуса жандармов Шишкин".

Бенкендорф долго читал донесение. Задумался. Взял перо и начертал наверху:

«Считать самоубиенным».

Потом подумал еще да и бросил донесение в камин. Позвонил в колокольчик. Вошел секретарь.

— Вызовите ко мне Шишкина, любезный, — попросил ласково.

Когда явился Шишкин, Бенкендорф сказал ему:

— Он был самоубийцей. Хотя его и убили. Убийц не ищите. Нам это сейчас невыгодно. Убил-то кто?

Шишкин хотел ответить. Бенкендорф перебил его:

— Вот так-то, подполковник. Ступайте. Итак, самоубийца?

— Самоубийца, ваше сиятельство.

Я сто раз умирал, я привык
Умирать, оставаясь живым.
Я, как пламя свечи, каждый миг
В этой вечной борьбе невредим.
Умирает не пламя — свеча,

Тает плоть, но душа горяча.
И в борьбе пребываю, уча
Быть до смерти собою самим...

Москва-Орск-Кабул 1958 г.

notes

Notes

1

так у автора

2

«Что знают двое, то знает и свинья» (нем.)

3

«Слова, слова, они как огоньки в ночи» (англ.)

4

бумага (араб.)

В прошлом веке все народности, населявшие Среднюю Азию и оренбургские степи, в русской речи и в официальных документах назывались киргизами.

6

Я доктор (перс.)

7

Понимаешь по-персидски? (перс.)

8

Как понимать ваши первые слова? (перс.)

9

То, что вы сказали, правда? (кирг.)

10

Конечно, понимаю (афг.)

11

угощение, пир (кирг.)

12

Будь счастлив (афг.)

13

борьба (перс.)

14

Великий, сильнейший, сравнительная степень от слова «кабир»; имя (араб.)

15

Сильный; имя (араб.)

16

Персиковое дерево (афг.)

17

Афганская форма приветствия при встрече

Table of Contents

Юлиан Семенов Дипломатический агент	5
Часть первая	6
Глава первая	7
1	7
2	9
3	11
4	13
5	16
Глава вторая	19
1	19
2	20
3	21
4	23
5	24
6	26
7	28
8	31
Глава третья	33
1	33
2	36
Глава четвертая	39
1	39
2	41
3	44
4	47
Глава пятая	49
1	49
2	51
3	54
4	62
Глава шестая	65

1	65
2	66
3	68
Часть вторая	73
Глава первая	74
1	74
2	76
3	77
4	79
Глава вторая	84
1	84
2	84
3	85
4	86
5	87
6	89
7	91
8	92
9	97
10	99
Глава третья	103
1	103
2	104
3	109
4	114
5	119
6	122
Глава четвертая	123
1	123
2	125
3	128
4	129
Глава пятая	131
1	131

2	131
3	135
4	135
Часть третья	138
Глава первая	139
1	139
2	141
3	141
4	143
Глава вторая	145
1	145
2	148
Глава третья	151
1	151
2	152
3	155
4	158
5	161
6	165
7	170
8	172
9	174
Глава четвертая	175
1	175
2	176
3	176
4	177
5	180
6	183
7	184
8	185
9	187
10	188
11	191

12	196
Эпилог	200
Notes	204
1	205
2	206
3	207
4	208
5	209
6	210
7	211
8	212
9	213
10	214
11	215
12	216
13	217
14	218
15	219
16	220
17	221